

Грэм Грин

# Сила и слава

## Оглавление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.....	2
1. ПОРТ.....	2
2. СТОЛИЦА.....	11
3. РЕКА.....	18
4. СТОРОННИЕ СВИДЕТЕЛИ.....	29
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.....	39
1.....	39
2.....	68
3.....	82
4.....	94
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.....	105
1.....	105
2.....	120
3.....	124
4.....	132
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.....	139
1.....	139
2.....	143

*Тесней кольцо; злой силой свора дышит,  
И с каждым шагом смерть становится все ближе.*

Драйден

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1. Порт

Мистер Тенч вышел из дому за баллоном эфира — вышел на слепящее мексиканское солнце и в белесую пыль. Стервятники, сидевшие на крыше, смотрели на него с полным безразличием: ведь он еще не падал. Вялое чувство возмущения шевельнулось в сердце мистера Тенча, он выковырял расщепленными ногтями комки земли с дороги и лениво швырнул им в птиц. Одна поднялась и, взмахивая крыльями, полетела над городом — над крохотной площадью, над бюстом бывшего президента, бывшего генерала, бывшего человеческого существа, над двумя ларьками с минеральной водой, к реке и к морю. Там она ничего не найдет — в той стороне за падалью рыщут акулы. Мистер Тенч пошел через площадь.

Он сказал «Buenos días» человеку с винтовкой, который сидел у стены в маленьком клочке тени. Но здесь не Англия: человек ничего не ответил, только неприязненно посмотрел на мистера Тенча, будто он никогда не имел дела с этим иностранцем, будто не мистеру Тенчу он обязан своими двумя передними золотыми зубами. Обливаясь потом, мистер Тенч побрел дальше мимо здания казначейства, которое было когда-то церковью, к набережной. На полпути он вдруг забыл, зачем вышел из дому — за стаканом минеральной воды? Ничего другого в этом штате с сухим законом не достанешь, разве только пива, но на пиво монополия, оно дорого, пьешь его только по особым случаям. Мучительная тошнота сдавила желудок мистеру Тенчу — нет, не минеральная вода ему нужна. А, конечно! Баллон эфира... да, пароход пришел. Он слышал его ликующие свистки, лежа на кровати после обеда. Он прошел мимо парикмахерской, мимо двух зубоврачебных кабинетов и между складом и таможней вышел к реке.

Река тяжело текла к морю среди банановых плантаций. «Генерал Обрегон<sup>1</sup>» был пришвартован к берегу, и с него сгружали пиво — на набережной уже стояли штабелями сотни ящиков. Мистер Тенч остановился в тени у таможни и подумал: зачем я сюда пришел? Жара иссушила его память. Он харкнул, откашливая мокроту, и апатично сплюнул ее на солнце. Потом сел на ящик и стал ждать. Делать сейчас нечего. До пяти никто к нему не придет.

«Генерал Обрегон» был длиной ярдов в тридцать. Несколько футов погнутых поручней, одна спасательная лодка, колокол на гнилой веревке, керосиновый фонарь на носу — пароход, пожалуй, отслужит еще два-три года в Атлантике, если не налетит на норд в Мексиканском заливе. Тогда ему, ясно, конец. Впрочем, это не так уж важно — каждый, кто покупает билет, страхуется автоматически. Несколько пассажиров, опершись на поручни, стояли среди спутанных по ногам индюшек и глазели на порт — на склад, на пустую, спаленную зноем улицу с зубоврачебными кабинетами и парикмахерской. Мистер Тенч услышал скрип кобуры у себя за спиной и оглянулся. На него злобно смотрел таможенник. Он проговорил что-то, но мистер Тенч не разобрал слов.

— Простите? — сказал мистер Тенч.

---

<sup>1</sup> Обрегон Альваро (1880-1928) — видный мексиканский военный и политический деятель, установивший в стране режим «революционного каудильизма»; был избран президентом (1920-1924) в обстановке кровопролитной политической борьбы группировок; убит в 1928 г. после вторичного избрания президентом

— Мои зубы. — пробормотал таможенник.

— А-а. — сказал мистер Тенч. — Ваши зубы. — Таможенник был совсем без зубов и поэтому не мог говорить внятно — мистер Тенч удалил их все. Мистера Тенча мучила тошнота, что-то с ним неладно — глисты, дизентерия... Он сказал: — Протез почти готов. — и пообещал наобум: — Сегодня вечером. — Выполнить это было, конечно, невысказано, но вот так и живешь, откладывая все в долгий ящик. Таможенника его ответ удовлетворил. Глядишь, он и забудет, да и что ему еще делать? Деньги уже уплачены. Так шла жизнь мистера Тенча — жара, забывчивость, откладывание дел на завтра; если удастся, деньги на бочку — за что? Он посмотрел на медленно текущую реку; в устье, как перископ, двигался плавник акулы. За долгие годы здесь сели на мель несколько пароходов, и теперь они служили креплением речному берегу, а их трубы косо торчали над береговым обрывом, точно пушки, нацеленные куда-то далеко за банановые деревья и болото.

Мистер Тенч думал: баллон эфира, ведь чуть не забыл. Нижняя челюсть у него отвисла, и он стал хмуро считать бутылки «Cerveza Moctezuma» [марка пива]. Сто сорок ящичков. Двенадцать на сто сорок. Во рту у мистера Тенча скопилась густая мокрота. Двенадцать на четыре — сорок восемь. Он сказал вслух по-английски:

— Ишь ты, недурненькая! — Тысяча двести, тысяча шестьсот восемьдесят. Он сплюнул, с вялым любопытством разглядывая девушку, которая стояла на носу «Генерала Обрегона» — стройная, тоненькая фигурка, обычно они такие толстухи, глаза, конечно, карие, а во рту уж обязательно поблескивает золотой зуб, но свеженькая, молодая... Тысяча шестьсот восемьдесят бутылок по одному песо бутылка.

Кто-то спросил его по-английски:

— Что вы сказали?

Мистер Тенч всем корпусом повернулся на голос.

— Вы англичанин? — удивленно проговорил он, но при виде широкоскулого, исхудалого лица, как бы обуглившегося от трехдневной бороды, изменил форму вопроса: — Вы говорите по-английски?

Да, ответил человек, он говорит по-английски. Весь сжавшись, он стоял в тени — маленький, в темном, поношенном городском костюме, с небольшим портфелем в руке. Под мышкой у него торчал какой-то роман; на обложке виднелись детали грубо намалеванной любовной сцены. Он сказал:

— Простите. Мне показалось, вы заговорили со мной. — Глаза у этого человека были немного навыкате, и в нем чувствовалась какая-то неуверенная приподнятость, будто он только что отпраздновал свой день рождения... в одиночестве.

Мистер Тенч отхаркнул мокроту.

— А что я говорил? — Он решительно ничего не помнил.

— Вы сказали: «Ишь ты, недурненькая».

— Разве? К чему это я? — Он уставился в безжалостное небо. Стервятник висел там, точно наблюдатель. — К чему? А, наверно, вон про ту девицу. Здесь хороших не часто увидишь. На которую стоит посмотреть — одна-две за год.

— Она еще совсем юная.

— Да я без всяких намерений, — устало проговорил мистер Тенч. — За смотр денег не платят. Я уже пятнадцать лет живу один.

— Здесь?

— В здешних местах.

Они замолчали. Время шло, тень от таможни протянулась на несколько дюймов ближе к реке; стервятник чуть передвинулся в небе, точно черная часовая стрелка.

— Вы на нем приехали? — спросил мистер Тенч.

— Нет.

— Уезжаете на нем?

Маленькому человеку, видимо, хотелось уклониться от разговора на эту тему, но потом, точно объяснение все-таки было необходимо, сказал:

— Просто так, смотрю. Наверно, скоро отойдет?

— В Веракрус [порт в одноименном мексиканском штате], — сказал мистер Тенч. — Через несколько часов.

— Прямым курсом, без захода?

— Куда ему заходить? — Мистер Тенч спросил: — Как вы сюда попали?

Незнакомец ответил неопределенно:

— На лодке.

— У вас здесь плантация?

— Нет.

— Приятно послушать английскую речь. — сказал мистер Тенч. — Вы где научились, в Америке?

Незнакомец подтвердил это. Он был не очень словоохотлив.

— Эх, я бы все отдал, — сказал мистер Тенч, — чтобы очутиться сейчас там. — И проговорил тихо, опасливо: — У вас случайно не найдется в вашем портфельчике чего-нибудь выпить? Те, что приезжают оттуда... я знал двоих-троих... Немножко, в лечебных целях.

— У меня только лекарства. — сказал незнакомец.

— Вы врач?

Воспаленные глаза искоса, с хитрецей посмотрели на мистера Тенча.

— С вашей точки зрения, пожалуй... самозванный.

— Патентованные средства? Что ж! Сам живи и другим не мешай. — сказал мистер Тенч.

— А вы уезжаете?

— Нет, я пришел сюда за... за... да неважно за чем. — Он приложил руку к животу и сказал: — У вас ничего нет от... а, дьявол! Сам не знаю от чего. Все эта проклятая страна. От нее вы меня не вылечите. Никто не вылечит.

— Вам хочется домой?

— Домой? — сказал мистер Тенч. — Мой дом здесь. Знаете, как котирруется песо в Мехико? Четыре на доллар. Четыре. О Господи! Oga pro nobis [молись о нас (лат.)].

— Вы католик?

— Нет, нет. Просто к слову пришлось. Я ни во что такое не верю. — И добавил ни с того ни с сего: — И вообще слишком жарко.

— Пойду поищу, где можно посидеть.

— Пойдемте ко мне, — сказал мистер Тенч. — У меня есть запасной гамак. Пароход долго здесь простоит — если вам хочется посмотреть, как он отходит.

Незнакомец сказал:

— Я должен был встретиться здесь с одним человеком. Его зовут Лопес.

— Э-э... Лопеса расстреляли несколько недель назад. — сказал мистер Тенч.

— Расстреляли?

— Знаете, как это здесь делается. Ваш приятель?

— Нет, нет, — поспешил сказать незнакомец. — Просто приятель одного приятеля.

— Вот так-то, — сказал мистер Тенч. Он снова откашлялся и отхаркнул мокроту на палящее солнце. — Говорят, он помогал этим... гм... нежелательным элементам... ну... выбраться отсюда. Его девчонка живет теперь с начальником полиции.

— Его девчонка? То есть его дочь?

— Он был неженатый. Девчонка, с которой он жил. — Мистера Тенча удивило странное выражение лица незнакомца. Он снова сказал: — Знаете, как это здесь делается. — Потом посмотрел на «Генерала Обрегона». — Ничего, недурненькая. Года через два будет, конечно, как все остальные. Толстая и глупая. О Господи! До чего хочется выпить! Ora pro nobis.

— У меня есть немножко бренди. — сказал незнакомец.

Мистер Тенч бросил на него быстрый взгляд:

— Где?

Тощий незнакомец коснулся рукой бедра — возможно раскрывая источник своей странной приподнятости. Мистер Тенч схватил его за кисть.

— Осторожно, — сказал он. — Не здесь. — Потом метнул взгляд к коврику тени — на пустом ящике, прислонив к нему винтовку, спал часовой. — Пойдемте ко мне. — сказал мистер Тенч.

— Я же хотел посмотреть, — неохотно проговорил маленький незнакомец, — как он отчалит.

— Да это не скоро, еще несколько часов ждать, — снова заверил его мистер Тенч.

— Несколько часов? Вы в этом уверены? На солнце очень жарко.

— Вот и пойдемте ко мне домой.

Дом — этим словом обозначаешь просто четыре стены, за которыми спишь. Никогда у него не было настоящего дома. Они пошли через маленькую, спаленную солнцем площадь, где зеленел от сырости покойный генерал, а под пальмами стояли ларьки с минеральной водой. Дом лежал точно открытка в пачке других открыток. Стасуйте их — и наверху ляжет либо Ноттингем, либо лондонский район, где он родился, либо эпизод в Саутенде. Отец мистера Тенча тоже работал зубным врачом. Первое воспоминание сына было связано с негодным слепком для зубного протеза, который он нашел в корзине для бумаг: грубая, ощеренная беззубая пасть из белого гипса — не то неандертальца, не то питекантропа, будто ее раскопали в Дорсете. Эта штука стала его любимой игрушкой; его пытались отвлечь «конструктором», но судьба сказала свое слово. В детстве всегда бывает минута, когда дверь распаивается настежь и впускает будущее. Зной и сырость речного порта и стервятники лежали в корзине для бумаг, оттуда он их и вынул. Мы должны быть благодарны, что нам не дано видеть ужасы и падения, которые приберегает наше детство в шкафах, на книжных полках — повсюду.

Площадь была немощеная; во время дождей городишко (другого названия он не заслуживал) тонул в грязи. Теперь земля под ногами была твердая, как камень. Они молча прошли мимо

парикмахерской и зубоврачебных кабинетов; стервятники сидели на крыше сытые, точно домашняя птица; они искали насекомых под широким размахом пыльных крыльев. Мистер Тенч сказал:

— Прошу меня извинить, — и остановился около маленького деревянного домика в один этаж с верандой, на которой покачивался гамак. Домик был чуть побольше соседних на узкой улочке, которая ярдов через двести утыкалась в болото. Мистер Тенч сказал, волнуясь: — Может, посмотрите мое жилье? Не хочу хвастаться, но я лучший дантист здесь. Дом у меня неплохой. По здешним местам. — Гордость дрожала у него в голосе, точно неглубоко укоренившееся растение.

Он повел гостя за собой, заперев на ключ наружную дверь, вошел в столовую, где по обеим сторонам пустого стола стояли две качалки; керосиновая лампа, несколько номеров старых американских журналов, буфет. Он сказал:

— Сейчас дам стаканы, но прежде всего мне бы хотелось показать вам... вы же образованный человек... — Кабинет выходил окном во двор, где с жалкой, суетливой важностью расхаживало несколько индюшек. Бормашина, работающая от педали, зубоврачебное кресло, обитое кричащим ярко-красным плюшем, стеклянный шкафчик, где в беспорядке лежали пыльные инструменты. В кружке торчала козья ножка, испорченная спиртовка была задвинута в угол, и на всех полках валялись ватные тампоны.

— У вас хорошо, — сказал незнакомец.

— Правда, неплохо, — сказал мистер Тенч, — для такого городишка? Вы не можете себе представить, как здесь все трудно. Вот эта бормашина, — с горечью сказал он, — японского производства. Я пользуюсь ею всего месяц, а она уже срывается. Но американские мне не по средствам.

— Окно, — сказал незнакомец, — очень красивое. В раму был вставлен кусок витража: сквозь москитную сетку на двор с индюшками смотрела Малонна.

— Я достал его, — сказал мистер Тенч, — когда разоряли церковь. Как-то нехорошо — кабинет зубного врача без витража. Некультурно. Дома — то есть в Англии — обычно вставляли «Смеющегося кавалера», не знаю почему, или тюдоровскую розу. Но тут не до выбора. — Он отворил другую дверь и сказал: — Моя рабочая комната. — Первое, что здесь бросалось в глаза, была кровать под москитной сеткой. Мистер Тенч сказал: — Видите, у меня тесновато. — На одном конце верстака стоял кувшин с тазом, рядом мыльница; на другом — паяльная трубка, лоток с песком, щипцы, маленький тигель. — Слепки я делаю из песка, — сказал мистер Тенч. — Что еще здесь достанешь? — Он взял с верстака протез нижней челюсти. — Не всегда получается впору. И конечно, пациенты жалуются. — Потом положил протез на место и кивком головы показал на другой предмет, лежавший на верстаке, — нечто волокнистое и похожее на кишку с двумя маленькими штырями. — Незаращение неба, — сказал он. — Это моя первая попытка. Болезнь Кингсли. Не знаю, справлюсь ли. Но пробовать надо, не то отстанешь. — Рот у него приоткрылся, взгляд снова стал блуждающим; жара в комнатке была невыносимой. Он будто заблудился в пещере среди окаменелостей и орудий далеких веков, о которых ему мало что было известно.

— Может, сядем?.. — сказал незнакомец.

Мистер Тенч тупо уставился на него.

— Откупорим бренди.

— А, да! Бренди.

Он достал из шкафчика под верстаком два стакана и протер их от песка. Потом они вернулись в столовую и сели в качалки. Мистер Тенч разлил бренди.

— А воды? — спросил незнакомец.

— Вода здесь ненадежная, — сказал мистер Тенч. — Маюсь ужасно. — Он положил руку на живот и сделал большой глоток из стакана. — Вы тоже выглядите неважно, — сказал он. Пригляделся повнимательнее. — Зубы у вас... — Одного клыка не хватало, а передние были темные от винного камня и кариозные. Он сказал: — Вам надо ими заняться.

— Зачем? — сказал незнакомец. Он держал стакан осторожно, точно бренди было зверьком, который пригрелся возле него, но не внушал ему доверия. Худой, хилый, он казался человеком ничтожным, к тому же умученным болезнями и беспокойным характером. Он сидел на самом краешке качалки, придерживая на коленях свой портфель, и виновато, с нежностью поглядывал на бренди, не поднося стакана к губам.

— Пейте, — подбодрил незнакомца мистер Тенч (бренди-то было не его). — Это вас подкрепит. — Темный костюм и сутулая спина этого человека неприятно напомнили ему гроб с покойником. Да смерть уже была у него во рту, полном гнилых зубов. Мистер Тенч налил себе второй стакан. Он сказал: — Одинокое мне здесь. Приятно поговорить по-английски хотя бы с иностранцем. Не хотите ли посмотреть фотографию моих ребятишек? — Он вынул из бумажника пожелтевший снимок и протянул его незнакомцу. Два маленьких мальчика в саду. С трудом тащат лейку. — Правда, — сказал он, — это было шестнадцать лет назад.

— Теперь они молодые люди.

— Один умер.

— Ну что ж, — мягко проговорил незнакомец, — по крайней мере в христианской стране. — Он отпил из стакана и улыбнулся мистеру Тенчу глуповатой улыбкой.

— Да, правда, — недоумевающе сказал мистер Тенч. Он сплюнул мокроту и сказал: — Хотя для меня это не имеет особого значения. — И замолчал, уйдя мыслями куда-то в сторону; нижняя челюсть у него отвисла — он сидел серый, отсутствующий, но боль в желудке наконец напомнила ему, что надо подлить себе бренди. — Так... О чем мы говорили? Дети... а, да, дети. Странно, что остается у человека в памяти. Знаете, я эту лейку помню лучше, чем своих детей. Она стояла три шиллинга одиннадцать пенсов три фартинга. Зеленая. Мог бы показать вам ту лавку, где я ее купил. А дети... — Он уставился в стакан, разглядывая там свое прошлое. — Только и помню, как они плакали.

— Вы переписываетесь с ними?

— Нет, я прекратил переписку еще до приезда сюда. Какой смысл? Посылать им деньги я не мог. Не удивлюсь, если жена снова вышла замуж. Ее мать, наверно, обрадовалась бы, старая ведьма. Она меня никогда не любила.

Незнакомец тихо проговорил:

— Как это ужасно.

Мистер Тенч снова удивленно взглянул на своего собеседника. Тот сидел на краешке качалки, точно черный вопросительный знак, прикажут — уйдет, прикажут — останется. Трехдневная с проседью щетина придавала ему вид человека опустившегося, слабОВОЛЬНОГО. Из такого веревки можно вить. Он сказал:

— Я о жизни вообще. Что она делает с людьми!

— Допивайте свое бренди.

Незнакомец потянул из стакана. Будто балуя себя глоточком. Он сказал:

— Вы помните, как здесь было раньше — до «красных рубашек»<sup>2</sup>?

— Конечно, помню.

— Как тогда было хорошо.

— Разве? Что-то я этого не замечал.

— Тогда у людей был по крайней мере... Бог.

— В зубоврачебном деле это значения не имеет. — сказал мистер Тенч. Он подлил себе бренди из бутылки незнакомца. — Здесь всегда было плохо. Одиноко. О Господи! В Англии сказали бы — романтика. Я думал: поживу здесь пять лет и уеду. Работы было много. Золотые зубы. А потом стоимость песо упала. И теперь мне уж не выбраться отсюда. Но когда-нибудь все-таки выберусь. — Он сказал: — Брошу работу. Уеду домой. Буду жить как подобает джентльмену. Это... — Он обвел рукой голую, убогую комнату. — Это все вон из памяти. Теперь уж недолго ждать. Я оптимист, — сказал мистер Тенч.

Незнакомец вдруг спросил:

— Сколько ему до Веракруса?

— Кому — ему?

— Пароходу.

Мистер Тенч хмуро проговорил:

— Сорок часов — и мы были бы там. «Дилигенция». Хорошая гостиница. И танцевальные залы есть. Веселый город.

— Действительно, как будто близко, — сказал незнакомец. — А билет? Сколько стоит билет?

— Это спросите Лопеса, — сказал мистер Тенч. — Он контрагент.

— Но Лопес...

— А, да, я забыл. Его расстреляли. В дверь кто-то постучал. Незнакомец сунул свой портфель под качалку, а мистер Тенч опасливо подошел к окну.

— Осторожность никогда не мешает. — сказал он. — У хороших дантистов есть враги.

Слабый голосок взмолился:

— Я друг. — и мистер Тенч отворил дверь. Солнце мгновенно ворвалось в комнату белокипенной полосой.

На пороге стоял мальчик; ему нужен был доктор. На голове у него сидела широкополая шляпа, глаза были карие, взгляд — бессмысленный. За ним фыркали и били копытами по горячей, утрамбованной земле два мула. Мистер Тенч сказал, что он не доктор, а зубной врач. Оглянувшись, он увидел, что незнакомец совсем утонул в качалке и взгляд у него такой, точно он молится, просит о милосердии. Мальчик сказал, что больна его мать, что в городе есть новый доктор, а у старого лихорадка и он с места не сдвинется.

Что-то шевельнулось в мозгу мистера Тенча. Он сказал, будто делая открытие:

— Да ведь вы же врач?

---

<sup>2</sup> "красные рубашки" — «антиклерикальные» военизированные отряды, созданные в начале тридцатых годов губернатором штата Табаско Томасом Гарридо Каннабалем, закрывшим в штате все церкви и потребовавшим от священников вступления в брак.



— Нет, нет. Мне надо поспеть на пароход.

— А вы разве не говорили, что...

— Я передумал.

— Но пароход еще долго простоит, — сказал мистер Тенч. — Они никогда не ходят по расписанию. — И спросил мальчика, далеко ли ехать. Мальчик ответил, что шесть лиг.

— Слишком далеко, — сказал мистер Тенч. — Уходи. Кого-нибудь еще найдешь. — И обратился к незнакомцу: — Как быстро слухи расходятся. Теперь про вас, наверно, все в городе знают.

— Я ничем не смогу помочь, — взволнованно проговорил незнакомец. Он смиренно ждал, что мистер Тенч подтвердит это.

— Уходи, — сказал мистер Тенч. Мальчик не шевельнулся. Он с бесконечным терпением стоял на палящем солнце, заглядывая в комнату. Он сказал, что его мать умирает. Карие глаза ничего не выражали. Такова жизнь. Ты рождаешься, твои родители умирают, ты стареешь, ты умираешь сам.

— Если она при смерти, — сказал мистер Тенч, — тогда доктор ей ни к чему.

Но незнакомец неохотно поднялся, словно прозвучал приказ, которого он не мог послушаться. Он грустно сказал:

— Всегда так случается. Вот как сейчас.

— Вам же надо успеть на пароход.

— Не успею, — сказал он. — Так решено, чтобы я не успел. — В нем кипела немощная ярость. — Дайте мне мою бутылку. — Он надолго припал к ней, не сводя глаз с равнодушного мальчика, со спаленной солнцем улицы, со стервятников, круживших в небе, как черные мухи в глазах.

— Но если она умирает... — сказал мистер Тенч.

— Знаю я этот народ. Она умирает так же, как я.

— Вы же ей ничем не поможете.

Мальчик смотрел на них, будто его это не касалось. Спор на иностранном языке был для него явлением отвлеченным — он тут ни при чем. Он будет ждать до тех пор, пока доктор не выйдет.

— Ничего вы не знаете, — яростно сказал незнакомец. — Так все говорят, всегда так говорят: вы ничем не поможете. — Выпитое бренди оказывало свое действие. Он проговорил с глубочайшей горечью: — Я слышу, как это твердят во всем мире.

— Ну что ж, — сказал мистер Тенч. — Будет другой пароход. Через две недели. Или через три. Вам-то хорошо. Вы можете выбраться отсюда. У вас здесь не вложено капитала. — Он подумал о своих капиталовложениях: японская бормашина, зубоорудное кресло, спиртовка, и щипцы, и маленький тигель, где плавят золото для зубов. Все вложено в эту страну.

— Vamos, — сказал незнакомец мальчику. Потом повернулся и поблагодарил мистера Тенча за то, что мистер Тенч дал ему возможность отдохнуть от жары. Он говорил с вымученным достоинством, привычным мистеру Тенчу, — с достоинством человека, который боится ожидаемой боли, но мужественно опускается в зубоорудное кресло. Может, ему неприятна поездка верхом на муле? Незнакомец сказал со старомодной учтивостью: — Я буду молиться за вас.

— Рад был гостю, — сказал мистер Тенч. Незнакомец сел в седло, и мальчик первым медленно двинулся вперед под ярким солнцем, к болоту, в глубь страны. Незнакомец оттуда и вышел утром посмотреть на «Генерала Обрегона». Теперь он возвращался обратно. Выпитое бренди заставляло его чуть сильнее покачиваться в седле... А вот и конец улицы, и он виднеется маленький, унылый,

понурий.

Приятно было поговорить с новым человеком, думал мистер Тенч, возвращаясь в дом и запирая за собой дверь (это никогда не мешает). Одиночество встретило его там, пустота. Но и то и другое было знакомо ему, как отражение собственного лица в зеркале. Он сел в качалку и стал покачиваться взад и вперед, поднимая еле ощутимый ветерок в застоявшемся воздухе. К лужице бренди, пролитого на пол незнакомцем, узкой колонной двигались через всю комнату муравьи; они покружили по ней, потом в таком же строгом порядке двинулись к противоположной стене и исчезли. На реке «Генерал Обрегон» дал два свистка, почему — неизвестно.

Незнакомец забыл в комнате свою книгу. Она валялась под качалкой. На обложке женщина в старомодном платье, склонив колени на коврике, с рыданием обнимала мужские начищенные коричневые ботинки с узкими носками. Он — с маленькими нафабранными усиками — презрительно взирал на нее сверху вниз. Книжка называлась "Вечная мученица". Спустя несколько минут мистер Тенч поднял ее, открыл — и удивился. То, что там было напечатано, как будто не имело никакого отношения к обложке: текст латинский. Мистер Тенч задумался, потом захлопнул книгу и отнес ее в свою рабочую комнату. Жечь не стоит, но для верности лучше спрятать — кто ее знает, о чем она. Он сунул книгу в маленький тигель для плавки золота и вдруг, открыв рот, замер у верстака: он вспомнил, зачем ходил в порт — ведь «Генерал Обрегон» должен был доставить ему баллон эфира. С реки снова донесся свисток, и мистер Тенч с непокрытой головой выбежал на солнцепек. Он сказал незнакомцу, что пароход простоит до утра, но разве на этот народ можно положиться, вдруг они решат соблюсти расписание. Так оно и было. Когда он выбежал на набережную между складом и таможней, «Генерал Обрегон» шел уже футах в десяти от берега, двигаясь по ленивой реке к морю. Мистер Тенч крикнул что было силы. Бесплезно. Баллона с эфиром на набережной нигде не было. Он крикнул еще раз и на этом оставил свои попытки. В конце концов, разве это важно: в его безысходности еще одно небольшое огорчение ничего не меняет.

«Генерала Обрегона» начал обвевать легкий ветерок; банановые плантации по обоим берегам, несколько радиоантенн на мысу, порт скользили назад. Если оглянуться, и не скажешь, был ли этот порт когда-нибудь или нет. Впереди открылась широкая Атлантика; серые цилиндрические валы поднимали нос парохода, и спутанные по ногам индюшки топтались на палубе. В тесной рубке стоял капитан с зубочисткой, воткнутой в волосы. Земля медленно, равномерно закатывалась назад, и темнота наступила сразу, усыпав небо низкими блестящими звездами. На носу зажгли керосиновый фонарь, и девушка, которую углядел с берега мистер Тенч, тихо запела грустную, сентиментальную и спокойную песню о розе, окрашенной кровью возлюбленного. Беспредельная свобода и воздушный простор стояли над заливом, низкая береговая линия тропиков покоилась глубоко во тьме, точно мумия в гробнице. Я счастлива, твердила девушка, не вдумываясь, почему она счастлива.

Далеко от берега, в темноте, не спеша шли мулы. Действие бренди теряло свою силу, и незнакомец уносил с собой в болотистые края, которые станут совсем непроходимыми в сезон дождей, звук сирены «Генерала Обрегона», означавший, что пароход отошел по расписанию, а он остался здесь, брошенный. Против его воли в нем копошилась ненависть к мальчику, ехавшему впереди, и к больной женщине — он недостойн своей миссии. Запах сырости поднимался со всех сторон; казалось, эту часть света так и не высушило пламя, когда земля, кружась, устремила в пространство; ей достались только туманы и облака этих страшных просторов. Он стал молиться, подпрыгивая в седле в такт неровной, скользкой по грязи поступи мула и повторяя все еще заплетающимся языком:

— Пусть меня скорее поймут... Пусть меня поймут. — Он пытался бежать, но он раб своего народа, подобно вождю какого-нибудь племени в Западной Африке, который не смеет даже лечь и отдохнуть из страха, что перестанет дуть попутный ветер.

## 2. Столица

Отряд полиции возвращался в казармы. Полицейские шли вразброд, кое-как держа винтовки; там, где полагалось быть пуговицам, у них висели обрывки ниток; у одного обмотка спустилась на щиколотку. Все малорослые, с темными, загадочными индейскими глазами. Маленькая площадь на холме освещалась электрическими лампочками, соединенными по три на провисающих проводах. Казначейство, президентский дворец, зубоветеринарный кабинет, тюрьма — приземистое, белое, с колоннами здание, насчитывающее три сотни лет, а дальше — крутая улица вниз и задняя стена разрушенной церкви. Куда ни пойти, обязательно придешь к океану или к реке. Розовые фасады зданий классической архитектуры облупились, под штукатуркой проступала глина, и глина медленно осыпалась на глинистую почву. По кругу площади двигалось обычное вечернее шествие: женщины в одном направлении, мужчины — в другом. Молодые люди в красных рубашках шумливо толкались у ларьков, торгующих минеральной водой.

Лейтенант шагал впереди полицейских с гримасой такого злобного отвращения, будто его насильно приковали к ним; шрам на подбородке, возможно, свидетельствовал о давнем побеге. Краги на нем были начищены, кобура — тоже; пуговицы все на месте. На его худом, как у танцовщика, лице торчал тонкий, с горбинкой нос. Аккуратность облика выдавала в нем неумное стремление как-то выделиться в этом захудалом городке. С реки на площадь тянуло кислятиной, и стервятники устроились к ночи на крышах под кровом своих грубых черных крыльев. Время от времени маленькая мерзкая головка показывалась из-под крыла, заглядывала вниз, когтистая лапа поджималась поудобнее. Ровно в девять тридцать все лампы на площади погасли.

Часовой неуклюже взял на караул, и отряд промаршировал в казармы; не дожидаясь команды, полицейские вешали винтовки у офицерского помещения, опрометью кидались во двор к своим гамакам или в уборную. Некоторые сбрасывали с ног башмаки и укладывались спать. Штукатурка осыпалась с глинобитных стен; поколения полицейских оставили на побелке свои письма. Несколько человек, крестьян, сидели на скамье, зажав руки между колен, и ждали. На них никто не обращал внимания. В уборной двое полицейских затеяли драку.

— Где хефе? — спросил лейтенант. Этого никто не знал; наверно, играет на бильярде где-нибудь в городе. В раздражении, но не теряя своей подтянутости, лейтенант сел за стол начальника; позади на стене были нарисованы карандашом два сердца одно в другом. — Ну? — сказал он. — Чего вы ждете? Введите арестованных. — Они входили один за другим и кланялись, держа шляпы в руках.

— Такой-то. Буянил в пьяном виде.

— Штраф пять песо.

— Но у меня нет денег, ваше превосходительство.

— Тогда пусть вымоет уборную и камеры.

— Такой-то. Испортил избирательный плакат.

— Штраф пять песо.

— Такой-то. Обнаружена медалька под рубашкой.

— Штраф пять песо.

Разбор дел подходил к концу: ничего серьезного не было. В открытую дверь, кружась, влетали москиты.

Лейтенант услышал, как часовой во дворе взял на караул: значит, идет начальник полиции. Начальник быстро вошел в комнату — коренастый, толстощекий, в белом фланелевом костюме и широкополой шляпе, с патронташем и большим пистолетом, похлопывающим его по боку. Он

прижимал платок ко рту; вид у него был удрученный.

— Опять зубы разболелись. — сказал он. — Ой, зубы.

— Происшествий нет. — презрительно доложил лейтенант.

— Губернатор опять меня сегодня разнес. — пожаловался начальник.

— Спиртное?

— Нет, священник.

— Последнего расстреляли несколько недель назад.

— Он говорит, не последнего.

— Хуже всего то. — сказал лейтенант. — что у нас нет фотографий. — Он скользнул взглядом по стене к снимку Джеймса Калвера, разыскиваемого Соединенными Штатами по обвинению в ограблении банка и убийстве. Топорное, асимметричное лицо, снятое анфас и в профиль; словесный портрет разослан во все полицейские участки Центральной Америки. Низкий лоб и взгляд фанатика, устремленный в одну точку. Лейтенант с огорчением посмотрел на него: маловероятно, чтобы этот человек пробрался на юг страны; его поймут в каком-нибудь пограничном притоне — в Хуаресе, Пьедрас-Негресе или в Ногалесе.

— Он говорит, что фотография есть. — жалобно сказал начальник. — Ой, зубы, зубы! — Он хотел достать что-то из заднего кармана, но его рука наткнулась на кобуру. Лейтенант нетерпеливо постукивал по полу начищенным башмаком. — Вот. — сказал начальник. За столом сидело большое общество: девочки в белых кисейных платьях; женщины с растрепанными прическами и мучительно напряженными лицами. У них из-за спины смущенно и озабоченно выглядывали несколько мужчин. Все лица пестрели мелкими точками: это была газетная вырезка — снимок участниц первого причастия, сделанный много лет назад. Среди женщин сидел довольно молодой человек в воротничке католического священника. В теплой и душевной атмосфере всеобщего уважения его, видимо, угощали чем-нибудь вкусным, специально припасенным для этого случая. Он восседал там, гладкий, глаза навывкате, и отпускал невинные шуточки. — Снимок давний.

— Все они на одно лицо. — сказал лейтенант. Фотография была нечеткая, грязно отпечатанная, но все же на этом листке проступали тщательно выбритые, тщательно припудренные щеки священника, слишком пухлые для его возраста. Слишком рано пришли к нему блага жизни — уважение окружающих, верный заработок. Штамп религиозных поучений на языке, шутка, помогающая общению, готовность к приятию почитания... Счастливый человек. Ненависть — врожденная, как у собаки к собаке, — пронзила нутро лейтенанта. — Мы его раз пять расстреливали. — сказал он.

— Губернатор получил донесение... На прошлой неделе он пытался удрать в Веракрус.

— Где же были «красные рубашки», если он смог пробраться сюда?

— Прозевали, конечно. Нам просто повезло, что он не попал на пароход.

— Куда он дальше девался?

— Нашли его мула. Губернатор требует: поймать этого священника не позже чем через месяц.

До того, как пойдут дожди.

— Где у него был приход?

— В Консепсьоне и в окрестных деревнях. Но он уже несколько лет как ушел оттуда.

— Известно что-нибудь о нем?

— Может сойти за гринго. Шесть лет учился в какой-то американской семинарии. Больше, кажется, ничего. Родом он из Кармен. Сын лавочника. Да это мало что дает.

— На мой взгляд, они все на одно лицо, — сказал лейтенант. Что-то сродни ужасу охватило его, когда он посмотрел на белые кисейные платя, — вспомнилось детство, запах ладана в церквях, свечи, кружева, самодовольство священников и те непомерные требования, которые предъявляли со ступеней алтаря они, люди, не ведающие, что такое жертва. Старые крестьяне стояли на коленях перед статуями святых, раскинув руки, как на распятии. Измученные за долгий день работы на плантациях, они принуждали себя к новому унижению. Священник же обходил молящихся с тарелкой для пожертвований, брал с них по сентаво и корил за пустячные грехи, приносящие им маленькие радости, сам же ничем не жертвовал, кроме разве плотских утех. Но это легче всего, подумал лейтенант. Ему самому женщины были не нужны. Он сказал: — Мы поймаем его. Дайте только время.

— Ой, зуб! — снова простонал начальник. — Всю жизнь мне отравляет. Сегодня я только двадцать пять выиграл.

— Пойдите к другому врачу.

— Все они одинаковые.

Лейтенант взял фотографию и приколот ее на стену. Четкий профиль Джеймса Калвера — грабителя и убийцы — уставился на праздник по поводу первого причастия.

— Этот по крайней мере мужчина, — одобрительно проговорил лейтенант.

— Кто?

— Гринго.

Начальник сказал:

— А ты знаешь, что он натворил в Хьюстоне? Унес десять тысяч долларов. Двоих из охраны убил. Иметь дело с такими людьми... в какой-то степени почетно. — Он яростно прихлопнул москита.

— Такой человек, — сказал лейтенант, — особого вреда не принесет. Ну, убил одного-двоих. Что ж, все мы умрем. Деньги — кто-то же должен их потратить. А вот когда мы вылавливаем этих священников, то приносим пользу. — В начищенных до блеска башмаках он стоял посреди маленькой побеленной комнаты, пылая благородным негодованием и всем своим видом выражая величие идеи. В цели, поставленной им перед собой, корысти не чувствовалось. Поймать этого упитанного почетного гостя, пришедшего на праздник первого причастия, было для него делом чести.

Начальник уныло проговорил:

— Он, наверно, дьявольски хитер, который уж год скрывается.

— Это каждый может, — сказал лейтенант. — Мы не очень-то ими занимались, разве только когда они сами шли к нам в руки. Да я бы гарантировал вам, что поймаю этого человека в течение месяца, если...

— Если что?

— Если бы у меня была власть.

— Легко тебе говорить, — сказал начальник. — А как бы ты это сделал?

— Штат наш маленький. На севере — горы, на юге — море. Я бы все прочесал, как прочесывают улицу — дом за домом.

— На словах чего проще, — невнятно простонал начальник, держа платок у рта.

Лейтенант вдруг сказал:

— Вот что бы я сделал. Брал бы в каждой деревне по человеку — заложником. Если крестьяне не донесут на него, когда он придет, — заложников расстрелять и брать других.

— Много народу погибнет.

— Ну и что? — возразил лейтенант. — Зато мы раз и навсегда отделаемся от таких людей.

— А знаешь, — сказал начальник, — это не лишено резона.

Лейтенант шел домой по затемненному ставнями городу. Вся его жизнь прожита здесь. В помещении Синдиката рабочих и крестьян была когда-то школа. Он помог стереть печальную память о ней. Весь город теперь изменился: рядом с кладбищем на холме цементная спортивная площадка, где, как виселицы, в лунной темноте стоят железные качели; раньше там был собор. У новых детей будут новые воспоминания: прежнего ничего не останется. Когда он шел, весь погруженный в свои мысли, он чем-то напоминал богослова, зорко примечающего ошибки прошлого, чтобы искоренить их навсегда.

Он дошел до своего жилья. Дома здесь все были одноэтажные, побеленные, с внутренними двориками, колодцами и чахлыми цветами. Окна на улицу зарешеченные. В комнате у лейтенанта стоял топчан, сложенный из пустых ящичков, на нем соломенная циновка, подушка и простыня. На стене висел портрет президента, календарь, на плиточном полу стоял стол и качалка. При свечке все это выглядело неудобно — как в тюремной камере или в монастырской келье.

Лейтенант сел на топчан и стал снимать башмаки. Был час молитвы. Черные жуки, ударяясь о стены, взрывались, как хлопучки. Штук пятнадцать их ползало с поломанными крыльями по полу. Лейтенанта приводила в бешенство мысль, что остались еще в штате люди, верующие в милосердного и любящего Бога. Есть мистики, которые, как утверждают, непосредственно познают Господа Бога. Лейтенант тоже был мистик, но он познал пустоту — он был убежден в том, что мир угасает, погружается в холод, что люди зачем-то произошли от животных, но никакого особого смысла в этом не было. Это он знал твердо.

В рубашке и в брюках лейтенант лег на топчан и задул свечу. Жара стояла в комнате как враг. Но он верил, вопреки свидетельству своих чувств, в холодную пустоту эфира. Где-то играло радио: из Мехико, а может быть, даже из Лондона или Нью-Йорка в этот безвестный, всеми брошенный штат просачивалась музыка. Слабое место в обороне! Это его страна, и он обнес бы ее железной стеной, если бы мог, чтобы отгородиться от всего, что напоминает ему о прошлом, о том, как он смотрел тогда на все глазами жалкого мальчонки. Он бы все уничтожил и остался наедине с самим собой без всяких воспоминаний. Жизнь началась пять лет тому назад.

Лейтенант лежал на спине, глядя в темноту и слушая, как жуки стучаются о потолок. Он вспомнил священника, которого «красные рубашки» расстреляли у кладбищенской стены на холме. Такого же маленького, толстого, с глазами навывкате. Тот был монсеньор, думал, что это спасет его. В нем чувствовалось пренебрежение к низшему духовенству, и он до последней минуты толковал им о своем сане. Про молитвы он вспомнил только под самый конец. Стал на колени, и ему дали время на короткое покаяние. Лейтенант только наблюдал; непосредственно это его не касалось. Всего они расстреляли, пожалуй, человек пять; двое-трое скрылись, епископ благополучно проживает в Мехико, а один священник подчинился губернаторскому приказу, чтобы все духовные лица вступили в брак. Он жил теперь у реки со своей экономкой. Вот наилучшее решение вопроса — пусть остается живым свидетельством слабости их веры. Это разоблачает обман, которым священники прикрывались долгие годы. Потому что, если б они действительно верили в рай или в ад, им ничего бы не стоило претерпеть немного муки в обмен на такую безмерность, о которой... Лейтенант, лежавший на своем жестком ложе в горячем, влажном мраке, не питал ни малейшего сочувствия к слабости человеческой плоти.

В задней комнате Коммерческой академии женщина читала своим детям вслух. На краешке кровати сидели две маленькие девочки шести и десяти лет, а четырнадцатилетний мальчик стоял у стены с гримасой невыносимой скуки на лице.

— "Юный Хуан. — читала мать. — с раннего детства отличался смирением и благочестием. Среди других мальчиков попадались и грубые и мстительные; юный Хуан следовал заповедям Господа нашего и обращал левую щеку ударившему его. Однажды его отец подумал, что Хуан солгал, и побил его. Потом он узнал, что сын говорил правду, и попросил у него прощения. Но Хуан сказал ему: «Милый отец, как Отец наш небесный властен подвергать наказанию, когда на то будет воля его...»

Мальчик нетерпеливо потерся щекой о побеленную стену, а кроткий голос продолжал монотонное чтение. Обе девочки напряженно смотрели на мать глазами-бусинками, упиваясь сладостной набожностью.

— «Не надо думать, будто юный Хуан не любил посмеяться и поиграть, как играют другие дети, хотя случалось, что, взяв священную книгу с картинками, он прятался в отцовском коровнике от веселой гурьбы своих товарищей».

Мальчик раздавил босой ногой жука и мрачно подумал, что всему приходит конец — когда-нибудь они доберутся до последней главы и юный Хуан умрет под пулями у стены, крича: «Viva el Cristo Rey!»<sup>3</sup> Но потом, наверно, будет другая книжка: их каждый месяц провозят контрабандой из Мехико. Если бы только таможенники знали, где смотреть!

— "Да, юный Хуан был настоящий мексиканский мальчик, хоть и более вдумчивый, чем его товарищи, зато когда затевался какой-нибудь школьный спектакль, он всегда был первым. Однажды его класс решил разыграть в присутствии епископа небольшую пьеску о гонениях на первых христиан, и никто так не радовался, как Хуан, когда ему дали роль Нерона. И сколько юмора вложил в свою игру этот ребенок, которому в недалеком будущем уготована была гибель от рук правителя куда хуже Нерона. Его школьный товарищ, ставший впоследствии отцом Мигелем Серрой, пишет: «Никто из нас, кто был на этом спектакле, не забудет того дня...»

Одна из девочек украдкой облизнула губы. Вот это жизнь!

— «Занавес поднялся. Хуан был в нарядном халате своей матери, с усами, наведенными углем, и в короне, на которую пошла жестяная банка из-под печенья. Добрый старенький епископ и тот улыбнулся, когда Хуан вышел на маленькие, силами школьников сколоченные подмостки и начал декламировать...»

Мальчик подавил зевок, уткнувшись лицом в побеленную стену. Он устало проговорил:

— Он правда святой?

— Будет святым, этот день настанет, когда того пожелает Отец наш небесный.

— Они все такие?

— Кто?

— Мученики.

— Да. Все.

— Даже падре Хосе?

---

<sup>3</sup> Слава Христу-Царю!

— Не упоминай его имени, — сказала мать. — Как ты смеешь! Это презренный человек. Он предал Господа.

— Падре Хосе говорил мне, что он мученик больше, чем все остальные.

— Сколько раз тебе было сказано — не смей говорить с ним. Сын мой, ах, сын мой...

— А тот... что приходил к нам?

— Нет, он... не совсем, не как Хуан.

— Презренный?

— Нет, нет. Не презренный.

Меньшая девочка вдруг сказала:

— От него чудно пахло.

Мать снова стала читать:

— «Предчувствовал ли тогда Хуан, что пройдет несколько лет и он станет мучеником? Этого мы не можем сказать, но отец Мигель Серра пишет, что в тот вечер Хуан дольше обычного стоял на коленях, и когда товарищи начали поддразнивать его, как это водится у мальчиков...»

Голос все звучал и звучал — кроткий, неторопливый, неизменно мягкий. Девочки слушали внимательно, составляя в уме коротенькие благочестивые фразы, которыми можно будет поразить родителей, а мальчик зевал, уткнувшись в стену. Но всему приходит конец.

Вскоре мать ушла к мужу. Она сказала:

— Я так тревожусь за нашего сына.

— Почему не за девочек? Тревога ждет нас повсюду.

— Они, малышки, уже почти святые. Но мальчик — мальчик задает такие вопросы... про того пьющего падре. Зачем только он пришел к нам в дом!

— Не пришел бы, так его бы поймали, и тогда он стал бы, как ты говоришь, мучеником. О нем напишут книгу, и ты прочитаешь ее детям.

— Такой человек — и вдруг мученик? Никогда.

— Как ты там ни суди, — сказал со муж, — а он продолжает делать свое дело. Я не очень верю тому, что пишут в этих книгах. Все мы люди.

— Знаешь, что я сегодня слышала? Одна бедная женщина понесла к нему сына — крестить. Она хотела назвать его Педро, но священник был так пьян, что будто и не слышал его и дал ребенку имя Бригитта. Бригитта!

— Ну и что ж, это имя хорошей святой.

— Иной раз, — сказала мать, — сил с тобой никаких нет. А еще наш сын разговаривал с падре Хосе.

— Мы живем в маленьком городишке, — сказал ее муж. — Стоит ли нам обманывать себя. Нас все забыли. Жить как-то надо. Что же касается церкви, то церковь — это падре Хосе и пьющий падре. Других я не знаю. Если церковь нам не по душе, что ж, откажемся от нее.

Его взгляд, устремленный на жену, исполнился бесконечным терпением. Он был образованнее ее, печатал на машинке и знал азы бухгалтерии, когда-то ездил в Мехико, умел читать карту. Он понимал всю степень их заброшенности: десять часов вниз по реке до порта, сорок два часа по заливу



до Веракруса — это единственный путь к свободе. На севере — болота и реки, иссякающие у подножия гор, которые отделяют их штат от соседнего. А на юге — только тропинки, проложенные мулами, да редкий самолет, на который нельзя рассчитывать. Индейские деревни и пастушьи хижины. Двести миль до Тихого океана.

Она сказала:

— Лучше умереть.

— О! — сказал он. — Конечно. Это само собой. Но нам надо жить.

Старик сидел на пустом ящике посреди маленького пыльного двора. Толстый и одышливый, он слегка отдувался, будто после тяжелой работы на жаре. Когда-то он любил заниматься астрономией и сейчас, глядя в ночное небо, выискивал там знакомые созвездия. На нем была только рубашка и штаны, ноги — босые, и все-таки в его облике чувствовалась явная принадлежность к духовному сану. Сорок лет служения церкви наложили на него неизгладимую печать. Над городом стояла полная тишина: все спали.

Сверкающие миры плавали в пространстве, как обещание, наш мир — это еще не вселенная. Где-нибудь там Христос, может быть, и не умирал. Старика не верилось, что, если смотреть оттуда, наш мир сверкает с такой же яркостью. Скорее земной шар тяжело вращается в космосе, укрытый в тумане, как охваченный пожаром, всеми покинутый корабль. Земля окутана собственными грехами.

Из единственной принадлежащей ему комнаты его окликнула женщина:

— Хосе. Хосе! — Он съезжился, как галерный раб, услышав звук ее голоса; опустил глаза, смотревшие в небо, и созвездия улетели ввысь; по двору ползали жуки. — Хосе, Хосе! — Он позавидовал тем, кто уже был мертв: конец наступает так быстро. Приговоренных к смерти увели наверх, к кладбищу, и расстреляли у стены — через две минуты их жизнь угасла. И это называют мученичеством. Здесь жизнь тянется и тянется — ему только шестьдесят два года. Он может прожить до девяноста. Двадцать восемь лет — необъятный отрезок времени между его рождением и первым приходом: там все его детство, и юность, и семинария.

— Хосе! Иди спать. — Его охватила дрожь. Он знал, что превратился в посмешище. Человек, женившийся на старости лет, — это само по себе уже нелепо, но старый священник... Он взглянул на себя со стороны и подумал: а нужны ли такие в аду? Жалкий импотент, которого мучают, над которым издеваются в постели. Но тут он вспомнил, что был удостоен великого дара и этого у него никто не отымет. И из-за этого дара — дара претворять облатку в тело и кровь Христову — он будет проклят. Он святотатец. Куда ни придет, что ни сделает — все осквернение Господа. Один отступивший от веры католик, начиненный новыми идеями, ворвался как-то в церковь (в те дни, когда еще были церкви) и надругался над святыми дарами. Он оплевал их, истоптал ногами, но верующие поймали его и повесили, как вешали чучело Иуды в Великий четверг на колокольне. Это был не такой уж дурной человек, подумал падре Хосе, ему простится, он просто занимался политикой, но я-то — я хуже его. Я непристойная картинка, которую вывешивают здесь изо дня в день, чтобы развращать детей.

Он рыгнул, задрожал еще больше от налетевшего ветра.

— Хосе! Что ты там сидишь? Иди спать. — Дел у него теперь никаких нет — ни обрядов, ни месс, ни исповедей, и молиться тоже незачем. Молитва требует действия, а действовать он не желает. Вот уже два года как он живет в смертном грехе, и некому выслушать его исповедь. Делать больше нечего — сиди сиднем и ешь. Она пичкает, откармливает его на убой и обхаживает, как призового борова. — Хосе! — У него началась нервная икота при мысли о том, что сейчас он в семьсот тридцать восьмой раз столкнется лицом к лицу со своей сварливой экономкой — своей супругой. Она лежит на

широкой бесстыжей кровати, занимающей половину комнаты, — лежит под сеткой от moskitov, точно костлявая тень с тяжелой челюстью, короткой седой косицей и в нелепом чепце. Вбила себе в голову, что ей надо жить согласно своему положению, — как же! Государственная пенсионерка, супруга единственного женатого священника. Гордится этим.

— Хосе!

— Иду... ик... иду, милая, — сказал он и встал с ящика.

Кто-то где-то засмеялся.

Он поднял глаза — маленькие, красноватые, точно у свиньи, почуявшей близость бойни. Тонкий детский голосок позвал:

— Хосе! — Он ошалело оглядел дворик. Трое ребятишек с глубочайшей серьезностью смотрели на него из зарешеченного окна напротив. Он повернулся к ним спиной и сделал два-три шага к дому, ступая очень медленно из-за своей толщины. — Хосе! — снова пискнул кто-то. — Хосе! — Он оглянулся через плечо и поймал выражение буйного веселья на детских лицах. Злобы в его красноватых глазках не было — он не имел права озлобляться. Губы дернулись в кривой, дрожащей, растерянной улыбке, и это свидетельство безволия освободило детей от необходимости сдерживаться, они завизжали, уже не таясь: — Хосе! Хосе! Иди спать, Хосе! — Их тонкие бесстыжие голоса пронзительно зазвучали во дворе, а он смиренно улыбался, делал слабые жесты рукой, усмиряя их, и знал, что нигде к нему не осталось уважения — ни дома, ни в городе, ни на всей этой заброшенной планете.

### 3. Река

Капитан Феллоуз пел во весь голос под тарахтенье моторчика на носу лодки. Его широкое загорелое лицо было похоже на карту горного района: коричневые пятна разных оттенков и два голубых озера — глаза. Сидя в лодке, он сочинял свои песенки, но мелодии у него не получалось.

— Домой, еду домой, вкусно пое-ем, в проклятом городишке кормят черт знает че-ем. — Он свернул с главного русла в приток; на песчаной отмели возлежали аллигаторы. — Не люблю ваши хари, мерзкие твари. Мерзкие рожи, на что вы похожи! — Это был счастливый человек.

По обеим сторонам к берегам спускались банановые плантации. Голос капитана Феллоуза гудел под жарким солнцем. Голос и тарахтенье мотора были единственные звуки окрест. Полное одиночество. Капитана Феллоуза вздымала волна мальчишеской радости: вот это мужская работа, гуца дебрей, и ни за кого не отвечаешь, кроме как за себя самого. Только еще в одной стране ему было, пожалуй, лучше теперешнего — во Франции времен войны, в развороченном лабиринте окопов. Приток штопором ввинчивался в болотистые заросли штата, а в небе распластался стервятник. Капитан Феллоуз открыл жестяную банку и съел сандвич — нигде с таким аппетитом не ешь, как на воздухе. С берега на него вдруг заверещала обезьяна, и он радостно почувствовал свое единение с природой — неглубокое родство со всем в мире побежало вместе с кровью по его жилам. Ему повсюду как дома. Ловкий ты чертенок, подумал он, ловкий чертенок. И снова запел, слегка перепутав чужие слова в своей дружелюбной, дырявой памяти:

— Даруй мне жизнь, даруй мне хлеб, его водой запью я, под звездным небом в тишине идет охотник с моря. — Плантации сошли на нет, и далеко впереди выросли горы, как густые, темные линии, низко прочерченные по небу. На болотистой почве показалось несколько одноэтажных строений. Теперь он дома. Его счастье затуманилось небольшим облачком.

Капитан Феллоуз подумал: все-таки было бы приятно, если бы тебя встретили.

Он подошел к своему домику; от остальных, которые стояли на речном берегу, этот отличался только черепичной крышей, флагштоком без флага и дощечкой на двери с надписью: «Банановая компания Центральной Америки». На веранде висели два гамака, но никого там не было. Капитан Феллоуз знал, где найти жену, — не ее хотелось ему увидеть у причала. Громко топая, он распахнул дверь и крикнул:

— Папа приехал! — Сквозь москитную сетку на него глянуло испуганное худое лицо; его башмаки втоптали тишину в пол. Миссис Феллоуз съежилась за белым кисейным пологом. Он сказал:

— Рада меня видеть, Трикси? — И она быстро навела на лицо контуры боязливого радушия. Это было похоже на шуточную задачу: нарисуйте собаку одним росчерком, не отрывая мела от доски. Получается самая настоящая сосиска.

— Как приятно вернуться домой, — сказал капитан Феллоуз, искренне думая, что так оно и есть. Единственное, в чем он был убежден, так это в правильности своих эмоций — любви, радости, печали, ненависти. В решительный момент он всегда на высоте.

— Как дела в конторе — все хорошо?

— Прекрасно, — сказал Феллоуз. — Прекрасно.

— У меня был небольшой приступ лихорадки вчера.

— За тобой нужен уход. Теперь все наладится, — рассеянно проговорил он. — Теперь я дома. — И, весело увильнув от разговора о лихорадке, хлопнул в ладоши, громко рассмеялся. А она дрожала, лежа под пологом.

— Где Корал?

— Она там, с полицейским. — сказала миссис Феллоуз.

— Я думал, дочка меня встретит. — сказал он, бесцельно шагая по маленькой, неуютной комнате среди разбросанных распялок для обуви, и вдруг до него дошло. — С полицейским? С каким полицейским?

— Он пришел вчера вечером, и Корал позволила ему заночевать на веранде. Она говорит, он кого-то ищет.

— Вот странно! Ищет — здесь?

— Он не просто полицейский. Он офицер. Его люди остались в деревне. Так Корал говорит.

— Ты бы встала. — сказал он. — Понимаешь... Этим молодчикам нельзя доверять. — И добавил, не очень уверенно: — Она ведь еще ребенок.

— Но у меня был приступ. — простонала миссис Феллоуз. — Самочувствие ужасное.

— Все будет в порядке. Просто ты перегрелась на солнце. Не волнуйся — теперь я дома.

— Так болела голова. Ни читать не могла, ни шить. А тут еще этот человек...

Ужас всегда стоял у миссис Феллоуз за плечами; усилия, которые она прилагала, чтобы не оглядываться, измучили ее. Она только тогда могла смотреть в лицо своему страху, когда облекала его в конкретные формы — лихорадка, крысы, безработица. Реальная угроза — смерть на чужбине, с каждым годом подкрадывающаяся к ней все ближе и ближе, — была под запретом. Уложат вещи, уедут, а она будет лежать в большом склепе на кладбище, куда никто никогда не придет.

Он сказал:

— Что ж, надо пойти поговорить с этим полицейским. И, сев на кровать, положил руку ей на плечо. Кое-что общее у них все же было — что-то вроде застенчивости.

Он рассеянно проговорил:

— Этот итальяшка, секретарь хозяина, приказал...

— Что приказал?

— Долго жить. — Капитан Феллоуз почувствовал, как напряглось ее плечо; она отодвинулась от него к стене. Он коснулся запретного, и связующая их близость порвалась — он не понял почему. — Болит голова, милая?

— Пойди поговори с ним.

— Да, да. Сейчас пойду. — И не двинулся с места: дочь сама появилась в дверях.

Она стояла на пороге, очень серьезная, и глядела на них. Под ее взглядом, полным огромной ответственности за родителей, отец превратился в мальчишку, на которого нельзя положиться, мать — в призрак. Кажется, дунешь, и призрак исчезнет — нечто невесомое, пугливое. Корал была еще девочка лет тринадцати, а в этом возрасте мало чего боишься — не страшны ни старость, ни смерть, ни многие другие напасти: змеиный укус, лихорадка, крысы, дурной запах. Жизнь еще не добралась до нее: в этой девочке была ложная неуязвимость. Но она уже успела усохнуть — все было на месте и в то же время как бы только прочерчено тоненькой линией. Вот что делало с ребенком солнце — высушивало до костей. Золотой браслет на худеньком запястье был похож на замок, запирающий парусиновую дверцу, которую можно пробить кулаком. Она обратилась к отцу:

— Я сказала полицейскому, что ты вернулся.

— Да, да, — сказал капитан Феллоуз. — Что ж ты не поцелуешь старика отца?

Церемонным шагом она перешла комнату и запечатлела традиционный поцелуй на его лбу — он почувствовал, что поцелуй безразличный. Не тем голова у нее была занята. Она сказала:

— Я говорила кухарке, что мама не выйдет к обеду.

— Ты бы попыталась встать, милая, — сказал капитан Феллоуз.

— Зачем? — спросила Корал.

— Ну, все-таки...

Корал сказала:

— Мне надо поговорить с тобой наедине. — Миссис Феллоуз шевельнулась под пологом — показать, что она еще здесь. Только бы знать, что Корал обставит как следует ее последний путь. Здравый смысл — качество ужасающее, она никогда не обладала им; ведь это здравый смысл говорит: «Мертвые не слышат», или: «Она уже ничего не чувствует», или: «Искусственные цветы практичнее».

— Я не понимаю, — чувствуя неловкость, сказал капитан Феллоуз, — почему маме нельзя знать.

— Она не встанет. Она только испугается.

У Корал — он уже привык к этому — на все имелся готовый ответ. Она всегда говорила обдуманно, всегда была готова ответить. Но иной раз ее ответы казались ему дикими... В их основе лежала только та жизнь, которую она знала, — жизнь здесь. Болота, стервятники в небе — и ни одного сверстника, если не считать деревенских ребятишек со вздутыми от глистов животами; они как нелюди — едят тину с берега. Говорят, дети сблизают родителей, и, право, ему не хотелось оставаться с этой девочкой с глазу на глаз. Ее ответы могут завести его Бог знает куда. Сквозь полог он нащупал украдкой руку жены, чтобы почувствовать себя увереннее. Эта девочка — чужая в их доме. Он сказал с наигранной шутивостью:

— Ты нас запугиваешь?

— По-моему, — вдумчиво проговорила девочка, — ты-то во всяком случае не испугаешься.

Он сказал, сдаваясь и сжимая руку жены:

— Ну что ж, милая, наша дочь, кажется, уже решила...

— Сначала поговори с полицейским. Я хочу, чтобы он ушел. Он мне не нравится.

— Конечно, пусть тогда уходит. — Капитан Феллоуз засмеялся глухим, неуверенным смешком.

— Так я ему и сказала. Говорю: вы пришли поздно, и мы не могли не предложить вам гамака на ночь. А теперь пусть уходит.

— Но он не послушался?

— Он сказал, что хочет поговорить с тобой.

— Это он здорово придумал, — сказал капитан Феллоуз. — Здорово придумал. — Ирония — его единственная защита, но ее не поняли. Здесь понятно только самое очевидное — например, алфавит, или арифметическое действие, или историческая дата. Он отпустил руку жены и следом за дочерью неохотно вышел на полуденное солнце. Полицейский офицер навтыжку стоял перед верандой: неподвижная оливкового цвета фигура. Он и шагу не сделал навстречу капитану Феллоузу.

— Ну-с, лейтенант? — весело сказал капитан Феллоуз. Ему вдруг пришло в голову, что с полицейским у Корал больше общего, чем с отцом.

— Я разыскиваю одного человека, — сказал лейтенант. — По имеющимся сведениям он должен находиться в этом районе.

— Не может он здесь быть.

— Ваша дочь говорит то же самое.

— Она все знает.

— Его разыскивают по тяжкому обвинению.

— Убийство?

— Нет. Государственная измена.

— О-о! Измена, — сказал капитан Феллоуз, сразу теряя всякий интерес. Измены теперь дело обычное, как мелкая кража в казармах.

— Он священник. Я полагаю, вы сразу сообщите нам, если увидите его. — Лейтенант помолчал. — Вы иностранец, живете под защитой наших законов. Мы надеемся, что вы должным образом оплатите нам за наше гостеприимство. Вы не католик?

— Нет.

— Так я могу полагаться на вас? — сказал лейтенант.

— Да.

Лейтенант стоял на солнце как маленький, темный, угрожающий вопросительный знак. Весь его вид говорил, что от иностранца он не примет даже предложения перейти в тень. Но от гамака-то он не отказался. Наверно, рассматривал это как реквизицию, подумал капитан Феллоуз.

— Стаканчик минеральной воды?

— Нет, нет, благодарю вас.

— Ну что ж, — сказал капитан Феллоуз. — Ничего другого я вам предложить не могу. Ведь так? Потребление алкогольных напитков — государственная измена.

Лейтенант вдруг круто повернулся, словно вид иностранцев претил ему, и зашагал по тропинке в деревню; его краги и кобура поблескивали на солнце. Мистер Феллоуз и Корал видели, как, отойдя на некоторое расстояние, лейтенант остановился и плюнул. Ему не хотелось показаться невоспитанным, и, только решив, что теперь уже никто не заметит, он облегчил душу, вложив в этот плевок всю свою ненависть и презрение к чужому образу жизни, к благополучию, прочности существования, терпимости и самодовольству.

— Не хотел бы я с таким столкнуться на узкой дорожке, — сказал капитан Феллоуз.

— Он, конечно, не верит нам.

— Они никому не верят.

— По-моему, — сказала Корал, — он почуял что-то неладное.

— Они везде это чувят.

— Понимаешь, я не позволила ему устроить здесь обыск.

— Почему? — спросил капитан Феллоуз и тут же легкомысленно перескочил на другое: — Как же ты это ухитрилась?

— Я сказала, что спущу на него собак... и пожалуюсь министру. Он не имел права...

— Э-э, право! — сказал капитан Феллоуз. — У них право в кобуре. Ну и пусть обыскивает. Велика важность!

— Я дала ему слово. — Она была так же непреклонна, как лейтенант: маленькая, загорелая и такая чужая здесь среди банановых рощ. Ее прямота никому не делала скидки. Будущее, полное компромиссов, тревог и унижений, лежало где-то вонне, дверь, через которую оно когда-нибудь войдет, была еще на запоре. Но в любую минуту какое-нибудь одно слово, один жест или самый незначительный поступок могут открыть эту заветную дверь. Куда же она поведет? Капитана Феллоуза охватил страх: он почувствовал бесконечную любовь, а любовь лишала его родительской власти. Нельзя управлять тем, кого любишь. — стой и смотри, как твоя любовь очертя голову мчится к разрушенному мосту, к развороченному участку пути, к ужасам семидесяти лежащих впереди лет. Счастливый человек, он закрыл глаза и стал напевать что-то.

Корал сказала:

— Я не хочу, чтобы такой... уличил меня во лжи... упрекнул, что я его обманула.

— Обманула? Господи Боже! — сказал капитан Феллоуз. — Так этот человек здесь?

— Конечно, здесь, — сказала Корал.

— Где?

— В большом сарае, — мягко пояснила она. — Нельзя же, чтобы его поймали.

— Мама знает об этом?

Она ответила, сокрушив его своей правдивостью:

— Ну нет. На маму я не могу положиться. — Она была совершенно независима: отец и мать принадлежали прошлому. Через сорок лет оба умрут, как та собака в прошлом году. Капитан Феллоуз сказал:

— Да покажи ты мне этого человека.

Он шагал медленно: счастье уходило от него быстрее и безогладнее, чем оно уходит от несчастных: несчастные всегда готовы к этому. Корал шла впереди, ее жиденькие косички белели на солнце, и ему вдруг впервые пришло в голову, что она в том возрасте, когда мексиканские девочки уже познают первого мужчину. Что же с ней будет? Он отмахнулся от мыслей, ответить на которые у него никогда не хватало мужества. Проходя мимо окна своей спальни, он увидел мельком контуры худенькой фигурки под москитной сеткой — лежит там, съежившись, костлявая, одна-одинешенька. И с тоской и с жалостью к самому себе вспомнил, как он был счастлив на реке, — человек делает свое дело, и заботиться ему ни о ком другом не надо. Зачем я женился?.. Он по-детски протянул, глядя на безжалостную худенькую спину впереди:

— Нельзя нам впутываться в политику.

— Это не политика, — мягко проговорила Корал. — В политике я хорошо разбираюсь. Мы с мамой проходим сейчас Билль о реформе. — Она вынула из кармана ключ и отперла дверь большого сарая, где у них хранились бананы до отправки вниз по реке, в порт. После яркого солнца там было очень темно; в углу кто-то шевельнулся. Капитан Феллоуз взял с полки электрический фонарик и осветил им человека в рваном тесном костюме — маленького, зажмурившегося, давно не бритого.

— Кто вы?— спросил капитан Феллоуз.

— Я говорю по-английски. — Человек прижимал к боку маленький портфель, точно в ожидании поезда, который ему ни в коем случае нельзя пропустить.

— Вам не следует здесь оставаться.

— Да, — сказал он. — Да.

— Нас это не касается, — сказал капитан Феллоуз. — Мы иностранцы.

Человек сказал:

— Да, конечно, я сейчас уйду. — Он стоял чуть склонив голову, точно вестовой, выслушивающий приказ офицера. Капитан Феллоуз немного смягчился. Он сказал:

— Дождитесь темноты. Не то вас поймают.

— Да.

— Есть хотите?

— Немножко. Но это неважно. — Он сказал каким-то отталкивающе-приниженным тоном: — Если бы вы были настолько любезны...

— А в чем дело?

— Немножко бренди.

— Я и так нарушаю из-за вас закон. — сказал капитан Феллоуз. Он вышел из сарая, чувствуя себя вдвое выше, а щуплый, согбенный человек остался в темноте, среди бананов. Корал заперла сарай и пошла следом за отцом.

— Ну и религия! — сказал капитан Феллоуз. — Клянчит бренди. Позор!

— Но ведь ты сам иногда его пьешь.

— Дорогая моя. — сказал капитан Феллоуз. — вот вырастешь, и тогда тебе станет ясна разница между рюмкой бренди после обеда и... потребностью в нем.

— Можно, я отнесу ему пива?

— Ты ничего ему не отнесешь.

— На слуг нельзя полагаться.

Капитан Феллоуз почувствовал свое бессилие и пришел в ярость. Он сказал:

— Вот видишь, в какую историю ты нас впутала. — Громко топая, он прошел в дом и беспокойно заходил по спальне среди распялок для обуви. Миссис Феллоуз спала тревожным сном. Ей снились свадьбы. Раз она громко сказала:

— Свадебный поезд. Свадебный поезд.

— Что? — раздраженно спросил капитан Феллоуз. — Что такое?

Темнота упала на землю как занавес: только что светило солнце, и вот его уже нет. Миссис Феллоуз проснулась — перед ней была еще одна ночь.

— Ты что-то говоришь, милый?

— Это ты говорила, — сказал он. — Про какие-то поезда.

— Мне, наверно, что-то приснилось.

— Поезда здесь пойдут не скоро, — сказал он с мрачным удовлетворением. Потом подошел к кровати и сел с краю, подальше от окна, чтобы ничего не видеть и ни о чем не думать. Затрещали цикады, и вокруг москитной сетки, точно фонарики, начали мелькать светлячки. Он положил свою тяжелую, бодрую, ждущую утешения руку на тень под простыней и сказал: — Жизнь здесь не такая уж плохая, Трикси. Правда? Не такая уж плохая. — И почувствовал, как она напряглась. Слово «жизнь» было запретное: оно напоминало о смерти. Она откинулась к стене и снова в отчаянии повернула голову. Фраза «отвернулась к стене» тоже была под запретом. Она лежала в полном смятении, и границы ее страха ширились и ширились, включая все родственные отношения и весь мир неодушевленных вещей. Это было как зараза. Посмотришь на что-нибудь подольше и чувствуешь: тут тоже копошатся микробы... даже в слове «простыня». Она сбросила с себя простыню и сказала:

— Какая жара, какая жара! — Обычно счастливый и всегда несчастная опасливо смотрели с кровати на сгущающуюся ночь. Они спутники, отрезанные от всего мира. То, что было вне их, не имело никакого смысла. Они словно дети, которых везут в закрытом экипаже по необъятным просторам, а куда — неизвестно. С отчаяния он начал бодро напевать песенку военных лет — только бы не слышать шагов во дворе, направляющихся к сараю.

Корал поставила на землю тарелку с куриными ножками и оладьями и отперла дверь сарая. Под мышкой она держала бутылку «Cerveza Moctezuma». В темноте снова послышалась какая-то возня — движения испуганного человека. Корал сказала:

— Это я, — чтобы успокоить его, но фонариком не посветила. Она сказала: — Вот здесь бутылка пива и кое-что поесть.

— Спасибо. Спасибо.

— Полицейские ушли из деревни — на юг. Вам надо идти к северу.

Он промолчал.

Она спросила с холодным любопытством ребенка:

— А что с вами сделают, если вы попадетесь?

— Расстреляют.

— Вам, наверно, очень страшно, — сказала она с интересом. Он ощупью пошел к двери сарая на бледный свет звезд. Он сказал:



— Да, очень страшно, — и споткнулся о гроздь бананов.

— Разве отсюда нельзя убежать?

— Я пробовал. Месяц назад. Пароход отходил... Но тут меня позвали.

— Вы были нужны кому-нибудь?

— Не нужен я был ей. — злобно сказал он. Теперь, когда земля вращалась среди звезд, Корал могла чуточку разглядеть его лицо — лицо, которое ее отец назвал бы не внушающим доверия. Он сказал: — Видишь, какой я недостойный. Разве можно так говорить!

— Недостойный чего?

Он прижал к себе свой портфельчик и спросил:

— Ты не могла бы мне сказать, какой сейчас месяц? Все еще февраль?

— Нет. Сегодня седьмое марта.

— Не часто попадают люди, которые это знают точно. Значит, еще месяц... еще шесть недель до того, как начнутся дожди. — И добавил: — Когда начнутся дожди, я буду почти в безопасности. Понимаешь, полиция не сможет вести розыски.

— Дождь для вас лучше? — спросила Корал. Ей хотелось все знать. Билль о реформе, и Вильгельм Завоеватель, и основы французского языка лежали у нее в мозгу как найденный клад. Она ждала ответов на каждый свой вопрос и жадно поглощала их.

— Нет, нет. Дожди — это значит еще полгода такой жизни. — Он рванул зубами мясо с куриной ножки. До нее донеслось его дыхание, оно было неприятное — так пахнет то, что слишком долго провалялось на жаре. Он сказал: — Пусть уж лучше поймают.

— А почему, — логически рассудила она, — почему бы вам не слаться?

Ответы его были так же просты и понятны, как ее вопросы. Он сказал:

— Будет больно. Разве можно вот так идти на боль? И мой долг не позволяет, чтобы меня поймали. Понимаешь? Епископа здесь уже нет. — Станный педантизм вдруг возымел власть над ним. — Ведь это мой приход. — Он нащупал оладью и с жадностью стал есть.

Корал веско проговорила:

— Да, задача. — Послышалось бульканье — это он припал к бутылке. Он сказал:

— Все пытаюсь вспомнить, как мне хорошо жилось когда-то. — Светлячок, точно фонариком, осветил его лицо и тут же погас. Лицо бродяги — чем могла одарить этого человека жизнь? Он сказал: — В Мехико сейчас читают «Благословен Бог». Там епископ... Думаешь, ему придет в голову?... Там даже не знают, что я жив.

Она сказала:

— Вы, конечно, можете отречься.

— Не понимаю.

— Отречься от веры, — сказала она словами из «Истории Европы».

Он сказал:

— Это невозможно. Такого пути для меня нет. Я священник. Это свыше моих сил.

Девочка внимательно выслушала его. Она сказала:

— Вроде родимого пятна. — Она слышала, что он отчаянно высасывает пиво из бутылки. Она

сказала: — Может, я найду, где у отца бренди.

— Нет, нет! Воровать нельзя. — Он допил пиво; долгий стеклянный присвист в темноте — больше не осталось ни капли. Он сказал: — Надо уходить. Немедленно.

— Вы всегда можете вернуться сюда.

— Твоему отцу это не понравится.

— А он не узнает, — сказала она. — Я присмотрю за вами. Моя комната как раз напротив этой двери. Постучите мне в окно. Пожалуй, лучше, — сосредоточенно продолжала она, — если у нас будет сигнальный код. Ведь мало ли кто может постучать.

Он сказал с ужасом:

— Неужели мужчина?

— Да. Как знать? Вдруг еще кто-нибудь убежал от суда.

— Нет, — растерянно проговорил он, — вряд ли.

Она беззаботно ответила:

— Всякое случается.

— И до меня было?

— Нет, но беглецы наверняка будут. Я должна быть готова. Постучите мне три раза. Два длинных стука и один короткий.

Он вдруг фыркнул по-ребячьи:

— А как стучать длинно?

— Вот так.

— То есть громко?

— Я называю такие стуки длинными — по Морзе. — Тут уж он ничего не понял. Он сказал:

— Ты очень хорошая девочка. Помолись за меня.

— О-о! — сказала она. — Я в это не верю.

— Не веришь в молитвы?

— Я не верю в Бога. Я утратила веру, когда мне было десять лет.

— Ай-ай-ай! — сказал он. — Тогда я за тебя буду молиться.

— Молитесь, если хотите, — покровительственным тоном сказала она. — А если придете к нам еще, я научу вас азбуке Морзе. Вам это пригодится.

— Когда?

— Если б вы спрятались на плантации, я сигнализировала бы вам зеркалом о передвижении противника.

Он с полной серьезностью выслушал ее.

— Но тебя могут увидеть.

— Ну, — сказала она, — я бы придумала какую-нибудь отговорку. — Она рассуждала логично, двигаясь шаг за шагом, сметая все препятствия на своем пути.

— Прощай, дитя мое. — сказал он и задержался в дверях. — Может быть... ведь молитвы тебе

не нужны... Может быть, тебе будет интересно... Я умею показывать забавный фокус.

— Я люблю фокусы.

— Его показывают на картах. У тебя есть карты?

— Нет.

Он вздохнул.

— Тогда ничего не выйдет, — и тихо засмеялся. Она почувствовала запах пива в его дыхании. — Тогда я буду молиться за тебя.

Она сказала:

— По-моему, вы совсем не боитесь.

— Глоток алкоголя, — сказал он, — делает чудеса с трусом. А если бы еще выпить бренди, да я... я бы бросил вызов самому дьяволу. — Он споткнулся в дверях.

— Прощайте, — сказала она. — Надеюсь, вам удастся бежать. — Из темноты донесся легкий вздох. Она тихо проговорила: — Если они вас убьют, я не прощу им этого — никогда. — Ни минуты не задумываясь, она была готова взять на себя любую ответственность, даже месть. В этом была ее жизнь.

На просеке стояли пять-шесть плетеных глинобитных хижин — две совсем развалились. Несколько свиней, копались в земле, а какая-то старуха носила из хижины в хижину горящий уголек и разжигала маленькие костры посреди пола, чтобы выгнать дымом moskitov. В двух хижинах жили женщины, в третьей — свиньи, в последней, неразвалившейся, где хранилась кукуруза, — старик, и мальчик, и полчища крыс. Старик стоял посреди просеки, глядя, как старуха ходит с разжигой; уголек мелькал в темноте, точно совершался неизменный еженощный обряд. Серые волосы, седая щетинистая борода, руки, темные и хрупкие, как прошлогодние листья, — он был воплощением безмерной долговечности. Ничто уже не сможет изменить этого старика, живущего на краешке существования. Он стар уже долгие годы.

Незнакомец вышел на просеку. На ногах у него были истрепанные городские башмаки, черные, узконосые; от них, кроме союзок, почти ничего не осталось, так что ходил он, собственно, босой. Башмаки имели чисто символическое значение, как опутанные паутиной хоругви в церквах. Он был в рубашке и в рваных черных брюках, в руках нес портфельчик — точно пригородный житель, который ездит на службу по сезонному билету. Он тоже почти достиг долговечности, хотя и не расстался с рубцами, наложенными на него временем, — сношенные башмаки говорили об ином прошлом, морщинистое лицо — о надеждах и страхе перед будущим. Старуха с углем остановилась между двумя хижинами и уставилась на незнакомца. Он вышел на просеку, потупив глаза, сгорбившись, словно его выставили напоказ. Старик двинулся ему навстречу, взял его руку и поцеловал ее.

— Вы дадите мне гамак на ночь?

— Отец! Гамаки — это в городе! Здесь спят на чем придется.

— Ладно. Мне бы только где-нибудь лечь. А немножко... спиртного не найдется?

— Кофе, отец. Больше у нас ничего нет.

— А поесть?

— Еды у нас никакой.

— Ну, не надо.

Из хижины вышел мальчик и уставился на него. Все уставились — как на бое быков. Бык

обессилен, и зрители ждут, что будет дальше. Они не были жестокосердны; они смотрели на редкостное зрелище: кому-то приходится еще хуже, чем им самим. Он проковылял к хижине. Внутри, выше колен, было темно; огонь на полу не горел, только что-то медленно тлело. Половину всего помещения загромадила сваленная в кучу кукуруза; в ее сухих листьях шуршали крысы. Земляная лежанка, на ней соломенная циновка, столом служили два ящика. Незнакомец лег, и старик затворил за ним дверь.

— Тут не схватят?

— Мальчик посторожит. Он знает.

— Вы ждали меня?

— Нет, отец. Уж пять лет как мы не видели священника... Но когда-нибудь это должно было случиться.

Священник заснул тревожным сном, а старик присел на корточки и стал раздувать огонь. Кто-то постучал в дверь, и священник рывком поднялся с места.

— Ничего, ничего, — сказал старик. — Это вам принесли кофе, отец. — Он поднес ему жестяную кружку с серым кукурузным кофе, от которого шел пар. Но священник так устал, что ему было не до кофе. Он, не двигаясь, лежал на боку. Из-за кукурузных початков на него смотрела крыса.

— Вчера здесь были солдаты, — сказал старик. Он подул на огонь; хижину заволокло дымом. Священник закашлялся, и крыса, точно тень от руки, быстро юркнула в кукурузу.

— Отец! Мальчик не крещеный. Последний священник, что сюда приходил, спросил два песо. У меня было только одно песо. А сейчас всего пятьдесят сентаво.

— Завтра, — устало проговорил священник.

— А вы отслужите мессу, отец?

— Да, да.

— А исповедь, отец, вы нас исповедуете?

— Да, только дайте мне сначала поспать. — Он лег на спину и закрыл глаза от дыма.

— Денег у нас нет, отец, заплатить нечем. Тот священник, падре Хосе...

— Вместо денег дайте мне во что переодеться, — нетерпеливо сказал он.

— Но у нас есть только то, что на себе.

— Возьмите мое в обмен.

Старик недоверчиво замурлыкал про себя, искоса поглядывая на то, что было освещено костром, — на рваное черное тряпье.

— Что ж, отец, надо, так надо, — сказал он. И стал тихонько дуть на костер. Глаза священника снова закрылись.

— Пять лет прошло, во стольком надо покаяться.

Священник быстро поднялся на лежанке.

— Что это? — спросил он.

— Вам чудится, отец. Если придут солдаты, мальчик нас предупредит. Я говорил, что...

— Дайте мне поспать хотя бы пять минут. — Он снова лег; где-то, наверно в одной из женских хижин, голос запел: «Пошла гулять я в поле и розочку нашла».

Старик негромко сказал:

— Жалко, если солдаты придут и мы не успеем... Такое бремя на бедных душах, отец... — Священник взметнулся на лежанке, сел, прислонившись спиной к стене, и сказал с яростью:

— Хорошо. Начинай. Я приму твою исповедь. — Крысы возились в кукурузе. — Говори, — сказал он. — Не трать времени зря. Скорее. Когда ты в последний раз... — Старик опустил на колени у костра, а на другом конце просеки женщина пела: «Пошла гулять я в поле, а розочки уж нет».

— Пять лет назад. — Он помолчал и дунул на костер. — Всего не вспомнишь, отец.

— Ты грешил против целомудрия?

Священник сидел, прислонившись к стене, подобрав под себя ноги, а крысы, привыкнув к их голосам, снова завозились среди кукурузных початков. Старик с трудом подбирал свои грехи, дуя на огонь.

— Покайся как следует, — сказал священник, — и прочитай... прочитай... Четки у тебя есть? Тогда читай «Радостные тайны». — Глаза у него закрылись, губы и язык не довели до конца отпущения грехов... Он снова встрепенулся, проснувшись.

— Можно, я приведу женщин? — говорил старик. — Прошло пять лет...

— А-а, пусть идут. Пусть все идут! — злобно крикнул священник. — Я ваш слуга. — Он прикрыл глаза рукой и заплакал.

Старик отворил дверь; снаружи под огромным сводом слабо освещенного звездами неба было не так темно. Он подошел к женским хижинам, постучался и сказал:

— Идите. Надо исповедаться. Надо уважить падре. — Женщины заныли в ответ, ссылаясь на усталость... можно ведь и утром... — Вы хотите обидеть его? — сказал старик. — Как по-вашему, зачем он сюда пришел? Такой праведный человек. Он сидит сейчас у меня в хижине и оплакивает наши грехи. — Старик выпроводил женщин на улицу; одна за другой они засемили по просеке к его хижине, а он пошел по тропинке к берегу сменить мальчика, который следил, не переходят ли солдаты реку вброд.

## 4. Сторонние свидетели

Мистер Тенч уже не помнил, когда он в последний раз писал письмо. Он сидел за верстаком и посасывал кончик стального пера, подчиняясь снова вернувшейся к нему потребности отправить хоть какую-нибудь весть по единственному сохранившемуся у него адресу — в Саутенд. Жив ли там еще кто-нибудь? Он нерешительно обмакнул перо, будто произнес наконец первое слово, завязывая разговор в гостях, где толком никого не знал. Сначала надписал конверт: «Миссис Марсдайт, Авеню, дом 3, Вестклиф. Для передачи миссис Тенч». Это был адрес ее матери — властной, всюду сующей свой нос женщины, которая уговорила его повесить свою вывеску в Саутенде. «Прошу переслать», — приписал мистер Тенч. Если старуха догадается, от кого оно, то ни за что не перешлет, но, может быть, за эти годы она уже забыла его почерк.

Он пососал лиловое от чернил перо. А что дальше? Писать было бы легче, если б его письмо имело какую-то цель, а не только смутное желание сообщить хоть кому-нибудь, что он еще жив. Может быть, письмо окажется некстати — вдруг жена снова вышла замуж? Но тогда она не постесняется разорвать его. Крупным, четким ученическим почерком он вывел: «Дорогая Сильвия» — и прислушался к шипенью тигля рядом на верстаке. В нем готовился золотой сплав. В этом городишке нет лавок, где можно купить нужный ему материал в готовом виде. И вообще в таких лавках не принимают в работу четырнадцатикаратное золото для зубоорудий, а более

высокая проба ему не по карману.

Беда в том, что здесь никогда ничего не случается. Он вел жизнь трезвую, благопристойную, размеренную, вполне во вкусе миссис Марсдаик.

Мистер Тенч взглянул на тигель; золото должно было скоро соединиться с лигатурой, и он всыпал туда чайную ложку угольного порошка, чтобы удалить из соединения кислород. Потом снова взял перо и задумался, глядя на бумагу. Он плохо помнил свою жену — помнил только шляпы, которые она носила. Как ее удивит эта весточка после такого долгого перерыва! Со смерти их сына они написали друг другу только по одному письму. Прожитые годы, по существу, проходили для мистера Тенча почти бесследно — они скользили быстро, не меняя его образа жизни. Шесть лет назад он собирался уехать домой, но курс песо упал после какой-то революции, пришлось перебраться на юг страны. За последние годы у него опять скопились деньги, но месяц назад где-то произошла очередная революция, и песо опять упало. Надо ждать — ничего другого не остается... Стальное перо опять полезло в рот между зубами: воспоминания таяли в маленькой накаленной комнате. А зачем вообще писать? Мистер Тенч уже не мог припомнить, откуда у него взялась эта странная идея. В наружную дверь кто-то постучал, и он оставил письмо на верстаке... «Дорогая Сильвия» пялилось со страницы — крупное, броское, безнадежное. На реке зазвонил пароходный колокол: это «Генерал Обрегон» вернулся из Веракруса. Мистеру Тенчу вдруг вспомнилось: маленький страдающий человек беспокойно мечется по комнате, задевая за качалки... Приятно побеседовали. Интересно, что с ним случилось потом, когда... И воспоминание умерло или просто ушло. Мистер Тенч привык к тому, что люди страдают, такова была его профессия. Он подождал из осторожности, пока чья-то рука снова не стукнула в дверь. Послышалось: «Con amistad» [друг (исп.)] — доверять никому нельзя... И только тогда мистер Тенч отодвинул засовы и впустил пациента.

Падре Хосе прошел в широкие, в классическом стиле ворота с выбитой поверху черными буквами надписью «Silencio»<sup>4</sup> — прошел в то место, которое люди когда-то называли «Божьей нивой». Оно напоминало участок застройки, где каждый владелец строил как ему взбредет в голову, не считаясь с соседями. Большие каменные склепы были самой разной высоты и самых разных форм; на некоторых крышу украшал ангел с замшелыми крыльями; в других сквозь стекло окошка виднелись на полках ржавеющие металлические венки. Будто заглядываешь в кухню дома, жильцы которого выехали, забыв опростать цветочные вазы. Тут было что-то родное, близкое — ходи куда хочешь, что хочешь разглядывай. Жизнь отступила отсюда навсегда.

Из-за своей тучности падре Хосе с трудом пробирался между склепами: вот где хорошо побыть одному — ребятишек нет, можно разбудить в себе слабенькую тоску по прошлому, а это все же лучше, чем ничего не чувствовать. Некоторых из здешних покойников ему пришлось хоронить самому. Его воспаленные глазки посматривали по сторонам. Обходя серую громаду склепа Лопесов — купеческой семьи, которая пятьдесят лет назад владела единственной гостиницей в столице, — он обнаружил, что все-таки не один здесь. На краю кладбища, у стены, копали могилу: двое мужчин делали свое дело быстро. Рядом с ними падре Хосе увидел женщину и старика. У их ног стоял детский гробик. Выкопать могилу в рыхлой почве было недолго; на дне ее собралось немного воды. Вот почему люди с достатком предпочитали лежать в склепах.

Работа на минуту прекратилась — все четверо посмотрели на падре Хосе, и он попятился к склепу Лопесов, чувствуя себя лишним здесь. Яркий, горячий полдень был чужд горю; на крыше позади кладбищенской стены сидел стервятник. Кто-то сказал:

---

<sup>4</sup> молчание (исп.)

— Отец...

Падре Хосе осуждающе поднял руку, как бы показывая, что его здесь нет, что он ушел — ушел прочь, с глаз долой.

Старик сказал:

— Падре Хосе. — Все четверо жадно смотрели на него. Покорные судьбе до того, как он появился перед ними, теперь они требовали, умоляли... Он пятился, стараясь протиснуться между склепами. — Падре Хосе, — повторил старик. — Молитву... — Они улыбались ему, ждали. Смерть близких была для них делом привычным, но теперь среди могил внезапно мелькнула надежда на благо. Они смогут похвастаться, что хотя бы один из их семьи лег в землю с молитвой, как полагается.

— Нельзя, нельзя. — сказал падре Хосе.

— Вчера был день ее святой. — сказала женщина, будто это имело какое-то значение. — Ей исполнилось пять лет. — Это была одна из тех мамаш, которые первому встречному показывают фотографии своих детей. Но сейчас она могла показать только гроб.

— Нет, не могу.

Старик отодвинул гробик ногой, чтобы подойти поближе к падре Хосе. Гроб был маленький, легкий, будто в нем лежали одни лишь кости.

— Не полную службу, вы же понимаете, только молитву. Она невинное дитя. — сказал он. В слове «дитя» было что-то странное, древнее, пригодное только для этого каменного городка. Оно состарилось, как склеп Лопесов, и было уместно только здесь.

— Закон не позволяет.

— Ее звали Анита. — продолжала женщина. — Я болела во время беременности, — пояснила она, как бы извиняясь, что ребенок родился слабым и от этого всем вышло такое беспокойство.

— Закон...

Старик приложил палец к губам:

— Не сомневайтесь в нас. Ведь только одну молитву. Я ее дед. Это ее мать, ее отец, ее дядя. Доверьтесь нам.

Но в том-то и была беда — он никому не мог довериться. Только придут домой, кто-нибудь из них обязательно начнет хвастаться. Он пятился назад, отмахиваясь пухлыми ладонями, мотая головой, и чуть не наткнулся на склеп Лопесов. Ему было страшно, и в то же время гордость клокотала у него в горле, потому что в нем снова увидели священника, его уважали.

— Если б я мог. — сказал он. — Дети мои...

Внезапно, неожиданно над кладбищем взметнулось горе. Эти люди привыкли терять детей, но им не было знакомо то, что лучше всего знают в мире, — крушение надежд. Женщина зарыдала, ее сухие, без слез рыдания были как попавший в капкан и рвущийся на волю зверек. Старик упал на колени и протянул руки.

— Падре Хосе, — сказал он. — больше некому. — Он словно молил о чуде. Неодолимое искушение охватило падре Хосе — рискнуть и прочесть молитву над могилой. Его безудержно потянуло выполнить свой долг, и он начертал в воздухе крестное знамение. Но затем страх, будто наркотик, парализовал его. Там, у набережной, его ждет презрение и безопасность; отсюда надо бежать. Он в бессилии упал на колени и взмолился:

— Оставьте меня. — Он сказал: — Я недостоин. Разве вы не видите? Я трус. — Оба старика

лицом к лицу стояли на коленях среди могил; гробик был отодвинут в сторону, как пустой предлог. Нелепое зрелище — падре Хосе знал, что это нелепо: вникая в свою жизнь, он научился видеть себя таким, каким был на самом деле. — тучным, уродливым, униженным стариком. Сладостный хор ангелов умолк и исчез, уступив место хору ребячьих голосов во дворе: «Иди спать, Хосе!» Голоса звучали резко, пронзительно — хуже, чем когда-либо раньше. Он знал, что его держит в своих когтях непростительный грех — отчаяние.

— «Но вот настал благословенный день. — вслух читала мать. — когда послушничество Хуана подошло к концу. Какое это было радостное событие для его матери и сестры! Радостное и в то же время немного печальное, ибо плоть наша немощна, и могли ли они не оплакивать в сердце своем потерю сына и старшего брата? Ах, если б им дано было знать, что они обретают святого, который будет молиться за них на небесах».

Младшая девочка сказала с кровати:

— Но у нас ведь есть святые.

— Конечно.

— Зачем же тогда еще один?

Мать продолжала чтение:

— «На следующий день вся их семья приняла причастие из рук сына и брата. Потом настала минута нежного прощания — никто не знал, что оно последнее. — с новым воином Христовым, после чего семья Хуана вернулась к себе домой в Морелос. Тучи уже сгущались на небе, и в Чапультепекском дворце президент Кальес обсуждал антикатолические законы. Дьявол готовился напасть на бедную Мексику».

— А стрелять скоро начнут? — спросил мальчик, беспокойно переступая с ноги на ногу.

Но мать неумолимо продолжала чтение:

— «Хуан втайне от всех, кроме своего духовника, умерщвлял свою плоть, готовясь к предстоящим испытаниям. Его товарищи ничего не подозревали, ибо он всегда был душой их веселых бесед, и в праздник основателя ордена именно ему...»

— Знаю, знаю, — сказал мальчик. — Он играл в спектакле.

Девочки широко открыли изумленные глаза.

— А что тут такого, Луис? — сказала мать, заложив пальцем запретную книгу. Он угрюмо посмотрел на нее. — Что тут такого, Луис? — повторила она. И, выждав минуту, снова стала читать. А девочки с ужасом и восхищением следили за братом. — «Именно ему, — читала мать, — разрешили поставить одноактную пьеску...»

— Знаю, знаю, — сказал мальчик. — Про катакомбы.

Поджав губы, мать продолжала:

— «...о гонениях на первых христиан. Может быть, Хуан вспомнил, как в детстве ему довелось играть Нерона в присутствии старого доброго епископа, но на сей раз он попросил себе комическую роль римского рыбака...»

— Не верю ни одному слову. — с угрюмой яростью сказал мальчик. — Ни одному слову не верю.

— Как ты смеешь!



— Нет таких дураков на свете.

Девочки замерли на месте, вытаращив на брата карие, полные благочестия глаза.

— Ступай к отцу.

— Ну и пойду, только бы не слушать эту... эту...

— Повтори ему то, что ты мне сказал.

— Эту...

— Уходи прочь.

Он хлопнул дверью. Отец стоял у зарешеченного окна и смотрел на улицу; жуки ударялись с размаху о керосиновую лампу и с поломанными крыльями копошились на каменном полу. Мальчик сказал:

— Мама велела повторить тебе то, что я ей сказал: что я не верю, что в книжке, которую она читает...

— В какой книжке?

— В божественной.

Отец грустно проговорил:

— Ах, в этой. — По улице никто не ходил, ничего здесь не случалось. С половины десятого электричество на улицах гасло. Он сказал: — Надо быть снисходительным. Понимаешь, для нас здесь все кончилось. А эта книга — она напоминает наше детство.

— Она глупая.

— Ты ведь не помнишь, как здесь жилось, когда у нас была Церковь. Я был плохим католиком, но Церковь — это... это музыка, огни и место, где можно посидеть, спрятаться от жары. И у твоей матери тоже всегда было какое-то занятие. Если б здесь был театр или хоть что-нибудь взамен, мы не чувствовали бы себя такими... такими заброшенными.

— Этот Хуан, — сказал мальчик. — Он такой глупый.

— Его ведь убили, правда?

— Вилья<sup>5</sup>, Обрегон, Мадеро<sup>6</sup> тоже были убиты.

— Кто тебе это рассказывал?

— Мы в них играем. Вчера я был Мадеро. Меня застрелили на площади — при попытке к бегству. — Где-то в тишине душевной ночи забил барабан, в комнату потянуло кислотой с реки. Этот запах был привычен, как сажа в большом городе. — Мы бросили жребий. Мне достался Мадеро. Педро вытянул Уэрту. Он убежал в Веракрус по реке. За ним погнался Мануэль — он был Каррансой.

Не отводя глаз от улицы, отец сбил щелчком жука с рубашки. Топот солдатских сапог слышался все ближе. Отец сказал:

— Мама, наверно, рассердилась на тебя?

— А ты нет, — сказал мальчик.

---

<sup>5</sup> Вилья Франсиско — вождь крестьянского движения в период мексиканской революции 1910-1917 гг., сторонник демократических преобразований; возглавлял в 1916-1917 гг. борьбу с иностранной интервенцией; убит реакционерами, боявшимися его влияния на массы

<sup>6</sup> Мадеро Франсиско Индалесио (1873-1913) — один из руководителей мексиканской революции, с 1911 г. президент страны, защищал интересы Мексики в борьбе с засильем иностранного капитала; был убит в результате заговора

— Да стоит ли сердиться? Ты не виноват. Нас бросили на произвол судьбы.

Мимо прошли солдаты, возвращаясь в казармы на холме, по соседству с тем местом, где когда-то стоял собор. Они шли не в ногу, не слушая барабанную дробь; вид у них был голодный; война еще не стала для них прибыльным занятием. Как в летаргическом сне они промаршировали по темной улице, и мальчик долго провожал их взглядом, полным волнения и надежды.

Миссис Феллоуз покачивалась в качалке взад-вперед, взад-вперед.

— Тогда лорд Пальмерстон заявил, что если правительство Греции не примет должные меры по делу дона Пасифико...

Она сказала:

— Деточка, у меня такая головная боль, давай, пожалуй, кончим на сегодня.

— Хорошо. У меня голова тоже побаливает.

— У тебя-то скоро пройдет. Убери, пожалуйста, книги. — Эти тоненькие, потрепанные книжонки им высылала по почте фирма «Домашнее обучение» на Патерностер-роуд. Полный курс наук, начинающийся разделом «Чтение без слез», постепенно доходил до Билля о реформе, лорда Пальмерстона и поэзии Виктора Гюго. Раз в полгода они получали экзаменационные листки, и миссис Феллоуз старательно проверяла ответы Корал и ставила ей отметки. Потом все это отсылалось на Патерностер-роуд и спустя несколько недель попадало в архив фирмы. Как-то раз миссис Феллоуз не выполнила своих обязанностей, потому что в Сапате началась стрельба, и получила уведомление, в котором было напечатано типографским способом: «Уважаемые родители, я с сожалением отмечаю...» Беда была в том, что они уже на несколько лет опередили программу, — где взять другие книги для чтения? — так что экзаменационные листки на несколько лет отстали. Время от времени фирма присылала по их адресу грамоты с тиснением, которые полагалось вставлять в рамку; в этих грамотах было сказано, что мисс Корал Феллоуз с отличием перешла в следующий класс, и в конце стояло факсимиле: Генри Бекли, бакалавр гуманитарных наук, директор фирмы «Домашнее обучение»; иногда приходили коротенькие, отпечатанные на машинке письма с тем же синим расплывчатым факсимиле. В письмах говорилось: «Дорогая ученица, на этой неделе вам следует обратить особое внимание...» Письма всегда были полуторамесячной давности.

— Милочка, — сказала миссис Феллоуз, — пойди закажи обед кухарке. Только для себя. Я в рот ничего не могу взять, а папа на плантации.

— Мама, — сказала девочка, — ты веришь в Бога?

Ее вопрос испугал миссис Феллоуз. Она изо всех сил закачалась вперед-назад и сказала:

— Конечно.

— В непорочное зачатие и во все такое прочее?

— Что за разговоры, милая? Кого ты наслушалась?

— Да никого, — сказала Корал. — Я сама думаю, вот и все. — Она не ждала дальнейших ответов; она прекрасно знала, что их не будет. Ей каждый раз приходилось решать все самой. Бакалавр гуманитарных наук Генри Бекли изложил всю священную историю своей ученице в одном из первых уроков, и поверить во все это ей было тогда не труднее, чем в великана из сказки, но к десяти годам она безжалостно отвергла обоих. Она уже начала учить алгебру.

— Неужели отец говорил с тобой о...?

— Да нет.

Корал надела тропический шлем и вышла на слепящий утренний свет искать кухарку. Ее фигурка казалась еще более хрупкой, чем всегда, и еще более непреклонной. Она отдала нужные распоряжения и пошла на склад осмотреть шкуры аллигаторов, распяленные на стене, потом в конюшню проверить, накормлены ли мулы. Шагая взад и вперед по раскаленному двору, она несла свои обязанности осторожно — точно стеклянную посуду. Не было вопросов, на которые у нее не нашлось бы ответа. Завидев девочку, стервятники неторопливо взмывали в воздух.

Она вернулась в дом, к матери, и сказала:

— Сегодня четверг.

— Разве, милочка?

— Папа не отправил бананы на пристань?

— Понятия не имею, милочка.

Корал быстро вышла во двор и позвонила в колокол.

Появился индеец. Нет, бананы лежат в сарае, никаких распоряжений на этот счет не было.

— Доставить на берег. — сказала Корал. — Сейчас же. Скорее. Того и гляди подойдет катер. — Она взяла отцовскую книгу записей и стала считать банановые грозди по мере того, как их выносили — в каждой грозди, ценою в несколько пенсов, по сотне бананов, а то и больше. Чтобы очистить сарай, понадобилось свыше двух часов. Кому-то надо же заняться этим, ведь раз уж случилось, что отец прозевал день отправки. Через полчаса Корал почувствовала усталость. Это было необычно для нее в такой ранний час. Она прислонилась к стене и обожгла себе лопатки. Ее не возмущало, что приходится торчать здесь и присматривать за работами; слово «играть» казалось ей бессмысленным: жизнь — это дело взрослое. В одном из первых учебников, присланных Генри Бекли, была картинка: у кукол собрались гости к чаю. Что-то совершенно непонятное — какой-то незнакомый ей обряд. Зачем нужно притворяться? Четыреста пятьдесят шесть. Четыреста пятьдесят семь. Пот струился по спинам пеонов, точно струйки воды из душа. У нее вдруг острой болью пронзило низ живота. Она не успела записать в книгу одну тачку, надо поторопиться с подсчетом. Впервые чувство ответственности легло ей на плечи грузом, который несешь долгие годы. Пятьсот двадцать пять. Боль была непривычная (нет, не глисты), но она не испугалась. Все ее тело словно ждало такой боли, словно созрело для нее. Так и разум, повзрослев, без сожалений расстаётся с нежностью. Это не детство уходило от нее; детства она по-настоящему и не знала.

— Это последняя? — спросила Корал.

— Да, сеньорита.

— Точно?

— Да, сеньорита.

Но ей надо было проверить. До сих пор не случалось, чтобы она делала что-то неохотно — сама не сделаешь, кто же сделает? А сегодня ей хотелось лечь в постель, уснуть. Пусть не все бананы будут вывезены — это не ее вина, а отцовская. Может, у меня лихорадка? Ноги были ледяные, хоть и стояли на раскаленной земле. А, ладно! — подумала она, покорно вошла в сарай, нащупала там электрический фонарик и включила его. Да, кажется, пусто, но надо довести дело до конца. Она шагнула к задней стене, держа фонарик прямо перед собой. Из-под ног у нее выкатилась пустая бутылка. Она направила лучик вниз — «Cerveza Moctezuma». Потом осветила заднюю стену: внизу, у самой земли, было что-то нацарапано мелом; она подошла ближе — в круге света белели маленькие крестики. Он, наверно, лежал среди бананов и машинально чертил что-то и больше ничего не мог придумать, чтобы отогнать страх. Девочка стояла, превозмогая боль, и смотрела на крестики. Какая-то страшная новизна со всех

сторон надвигалась на нее все утро. Будто этот день хотел оставить по себе долгую память.

Начальник полиции играл на бильярде в таверне: там лейтенант и нашел его. Щека у хефе была повязана платком — ему казалось, это облегчает зубную боль. Когда лейтенант прошел во вращающуюся дверь, он натирал мелом кий, готовясь к трудному удару. На полках позади бильярда стояли одни бутылки минеральной воды и какая-то желтая жидкость под названием сидрал — гарантированно безалкогольная. Лейтенант с осуждающим видом стал на пороге: какой позор! Ему хотелось уничтожить в этом штате все, что может дать иностранцам повод для насмешек. Он сказал:

— Разрешите обратиться?

Хефе сморщился от внезапного приступа боли и с несвойственной ему готовностью подошел к двери. Лейтенант взглянул на счет очков — на кольца, которые были нанизаны на веревку, протянутую через все помещение. Хефе проигрывал.

— Сейчас... вернусь, — сказал хефе и пояснил лейтенанту: — Рот боюсь открывать. — Когда они толкнули входную дверь, кто-то поднял кий и потихоньку отодвинул назад одно кольцо в счете хефе.

Они шли по улице рядом — толстый и тощий. Был воскресный полдень, и все магазины стояли на запоре — единственный пережиток, оставшийся от прежних времен. Но мессу нигде не служили. Лейтенант спросил:

— Вы видались с губернатором?

— Тебе дана полная свобода действий, — ответил хефе. — Полная свобода.

— Он оставляет все на наше усмотрение?

— С оговорками. — Хефе сморщился.

— Какие же это оговорки?

— Если не поймаешь... до дождей... ответственность... ляжет на тебя.

— Не было бы на мне другой ответственности, — хмуро проговорил лейтенант.

— Сам напросился. Вот и получай.

— Что ж, я рад. — Лейтенант почувствовал, будто весь тот мир, о котором он пекся, лег теперь к его ногам. Они прошли мимо нового клуба Синдиката рабочих и крестьян; увидели в окно большие, броские карикатуры на стенах — на одной священник облапил женщину в исповедальне, на другой потягивал причастное вино. Лейтенант сказал: — Это все скоро будет не нужно. — Он смотрел на карикатуры глазами чужестранца: в них было что-то варварское.

— Почему? Они... забавные.

— Придет время, и никто не вспомнит, что когда-то здесь была Церковь.

Хефе ничего не сказал на это. Лейтенант догадывался, что он думает: стоит ли спорить из-за такой чепухи? Он резко проговорил:

— Каковы будут распоряжения?

— Распоряжения?

— Вы же мой начальник.

Хефе промолчал. Он незаметно поглядывал на лейтенанта своими маленькими хитрыми глазами. Потом сказал:

— Ты же знаешь, я тебе доверяю. Поступай, как считаешь нужным.

— Вы дадите мне письменное распоряжение?

— Нет, это лишнее. Мы же знаем друг друга. Всю дорогу они вели осторожную борьбу, отстаивая каждый свою позицию.

— Разве губернатор ничего вам не написал? — спросил лейтенант.

— Нет. Он сказал — вы же друг друга знаете.

Уступить пришлось лейтенанту, потому что лейтенант по-настоящему пекся о деле, а не о своем будущем. Он сказал:

— Я буду брать заложников в каждой деревне.

— Тогда он не станет ходить по деревням.

— По-вашему, в деревнях не знают, где он сейчас? — резко проговорил лейтенант. — Но ему надо поддерживать с ними связь. Иначе какой от него толк?

— Делай как знаешь, — сказал хефе.

— И я буду расстреливать столько, сколько понадобится.

Хефе сказал с наигранной бодростью:

— Пустить немножко крови — никогда не повредит. Откуда ты начнешь?

— Думаю, с его прихода — с Консепсьона, а потом, может, пойду на его родину.

— Почему туда?

— Он, наверно, решит, что там ему будет безопасно. — Лейтенант в раздумье шагал мимо магазинов со спущенными шторами. — Пусть погибнет несколько человек, но, как вы считаете, губернатор поддержит меня, если в Мехико поднимут шум?

— Вряд ли, — сказал хефе. — Но ведь это то... — И скривился от боли.

— Это то, чего я хочу, — договорил лейтенант.

Он пошел к полицейскому участку один, а начальник вернулся в бильярдную. Прохожих на улице попадалось немного: было слишком жарко. Если б достать настоящую фотографию, думал лейтенант. Ему хотелось изучить лицо своего врага. Площадью завладели дети. Прыгая со скамейки на скамейку, они играли в какую-то непонятную, сложную игру; пустая бутылка из-под минеральной воды пролетела по воздуху и разбилась вдребезги у ног лейтенанта. Его рука метнулась к кобуре, он повернулся всем телом и поймал выражение ужаса на лице у мальчика.

— Это ты бросил бутылку?

На него был устремлен тяжелый, хмурый взгляд карих глаз.

— Что вы тут затеяли?

— Это бомба.

— Ты в меня целился?

— Нет.

— В кого же?

— В гринго.

Лейтенант улыбнулся неловким движением губ.

— Молодец, только целиться надо точнее. — И, отшвырнув осколки на дорогу, стал подыскивать слова, которые объяснили бы этим малышам, что он с ними заодно. Он сказал: — Твой гринго, наверно, из тех американских богачей, которые воображают, что... — и был поражен выражением преданности на лице мальчика. Это требовало какого-то отклика, и сердце лейтенанта вдруг сжалось от грустной, неутоленной любви. Он сказал: — Поди сюда. — Мальчик подошел, а его товарищи стояли испуганным полукругом и следили за ними с безопасного расстояния. — Как тебя зовут?

— Луис.

— Так вот, — сказал лейтенант, не находя нужных слов. — Учись целиться.

— Я хочу научиться, — с жаром сказал мальчик. Его взгляд был прикован к кобуре.

— Хочешь посмотреть, какое у меня оружие? — спросил лейтенант. Он вынул из кобуры свой тяжелый пистолет и протянул его мальчику. Остальные дети осторожно подошли поближе. Он сказал: — Вот это предохранитель. Подними его. Так. Теперь из него можно стрелять.

— Он заряжен? — спросил Луис.

— Он всегда заряжен.

Между губами у мальчика показался кончик языка; он судорожно глотнул, будто учуял запах еды. Теперь все ребята столпились вокруг лейтенанта. Один — посмелее — протянул руку и тронул кобуру. Они взяли лейтенанта в кольцо. И, пряча пистолет, он почувствовал, что и ему передалось их робкое счастье.

— Как он называется? — спросил Луис.

— Кольт калибра девять и шестьдесят пять.

— На сколько пуль?

— На шесть.

— Вы кого-нибудь убили из него?

— Пока еще нет, — ответил лейтенант.

У ребят захватило дух от восторга. Лейтенант стоял, держа руку на кобуре, и смотрел в карие, внимательные, полные терпения глаза. Вот за кого он борется. Он изгонит из их детства все, что ему самому приносило одно горе. — нищету, суеверие, пороки. Они заслуживают правды о пустой вселенной, о холоде остывающей земли и права на счастье — любое, какого им захочется. Ради них он был готов испепелить весь мир — сначала Церковь, потом иностранцев, потом политиков — даже его начальнику придется когда-нибудь сгинуть. Он начнет жизнь с такими вот ребятами заново — с нуля.

— О-о! — сказал Луис. — Если бы... Если бы я... — Мечты его были так огромны, что на них не хватало слов. Лейтенант протянул руку коснуться, приласкать мальчика и не знал, как это сделать. Он ущипнул его за ухо, и Луис отскочил назад — ему было больно. Мальчуганы, как птицы, разлетелись в разные стороны, а лейтенант один пошел через площадь к полицейскому участку — маленький щеголеватый человечек, горящий ненавистью и с тайной любовью в сердце. На стене в полиции профиль гангстера все с тем же упорством смотрел на первопричастниц. Кто-то обвел чернилами голову священника, чтобы выделить ее среди девичьих и женских лиц. Его зубы все так же непереносимо скалились в чернильном ореоле. Лейтенант яростно крикнул во двор:

— Есть тут кто-нибудь? — и сел за стол, слушая, как приклады винтовок волочатся по полу.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

Мул вдруг опустился на землю под священником. Ничего удивительного тут не было, потому что они путешествовали по лесам около двенадцати часов. Сначала двинулись на запад, но там их встретили слухи о солдатах, и они пошли к востоку; в этом направлении действовали «красные рубашки», так что им пришлось повернуть на север и пробираться по болотам, ныряя в тень махагониевых деревьев. Теперь оба они вымотались, и мул взял да и сел под ним. Священник слез с седла и засмеялся. Ему было весело. Странное открытие делает иногда человек — оказывается, что в жизни, какая она ни на есть, бывают и хорошие минуты; всегда найдется возможность для сравнения с худшими временами. Даже когда тебе грозит опасность, даже когда ты несчастен, маятник ходит туда-сюда.

Он осторожно вышел из-за деревьев на заболоченную просеку. Весь штат был такой — река, болота, лесные заросли. Он стал на колени и умылся на предвечернем свету в коричневой луже, которая, точно обливная посуда, отразила круглое, заросшее щетиной, исхудавшее лицо. Это было так неожиданно, что, глядя в воду, он улыбнулся робкой, уклончивой, неуверенной улыбкой, точно его застигли врасплох. Раньше он часто разучивал перед зеркалом какой-нибудь жест и знал свое лицо, как знает его актер. Это тоже была одна из форм смирения: лицо у него совсем не подходящее для священника — клоунское, с такой физиономией только и отпускать невинные шуточки в обществе женщин, у алтаря она не годится. И он постарался изменить свое лицо и, кажется, преуспел в этом, положительно преуспел. Теперь меня никто не узнает, подумал он, и радость снова опьянила его как глоток бренди, суля хоть недолгую свободу от страха, одиночества и много еще от чего. Преследования солдат привели его туда, где ему больше всего хотелось быть. Шесть лет он избегал здешних мест, но теперь кто его осудит? Он должен быть здесь, это не сочтется грехом. Он подошел к мулу и легонько пнул его ногой.

— Вставай, мул, вставай. — Маленький тощий человек в рваной одежде впервые за много лет, как обычный крестьянин, ехал к себе домой.

Но даже если б он двинулся к югу и миновал эту деревню — что ж, одним попусением больше. Последние годы были полны таких попусений — сначала он перестал соблюдать церковные праздники и дни поста и воздержания; потом — breviарий [служебник католического духовенства, содержащий отрывки из Библии, сочинений отцов церкви, житий святых, псалмы, молитвы, гимны и др. тексты, употребляемые при богослужении; состоит из четырех частей (соответственно временам года) по четыре главы в каждой], он уже не так часто открывал свой breviарий и наконец бросил его в порту во время очередной попытки бежать. За ним исчез и алтарный камень [плоский камень, на котором католические священники служили литургию] — таскать его за собой стало опасно. Служить обедню без алтарного камня было нельзя. Может, ему грозит лишение сана, но кары духовные уже казались нереальными в этом штате, где единственной карой была гражданская — смерть. Привычный ход жизни дал трещину, как прорванная плотина, и в нее просачивалась забывчивость, размывая то одно, то другое. Пять лет назад он поддался непростительному греху — отчаянию и теперь с непонятной легкостью на душе возвращался туда, где отчаяние овладело им, потому что и отчаяния не осталось. Священник он плохой — он знал это; таких называют «пьющий падре», но теперь все его прегрешения ушли из сердца и из памяти. Где-то они незаметно скапливаются, эти обломки его прегрешений, и когда-нибудь, наверно, совсем забудут источник благодати. Но пока что он живет, зная, что такое страх, усталость и постыдная легкость на сердце.

Шлепая по грязи, мул вышел на просеку, и они снова углубились в заросли. Теперь отчаяние

не терзало его, но это, разумеется, не значило, что он не заслужил проклятия, — просто с годами тайна становилась все непостижимей: проклятый влагает тело Господне в уста людей. Каким странным слугой обзавелся дьявол! Его мысли были полны простеньких мифов: архангел Михаил в латах поразил дракона, и ангелы с дивными струящимися кудрями, словно кометы, низвергались в пространство, ибо, по словам одного из отцов церкви, испытали зависть к людям, которым Господь уготовил безмерный дар — жизнь. Вот такую жизнь.

Землю здесь, видимо, обрабатывали: попадались пеньки и зола от костров — там, где почва была расчищена под посевы. Он перестал постегивать мула; им вдруг овладела странная робость... Из хижины вышла женщина и стала смотреть, как он медленно тащится по тропинке на усталом муле. Деревушка была маленькая: вокруг пыльной площади стояло не больше двадцати хижин — все на один лад. Но этот лад был близок его сердцу. Он знал: здесь ему окажут радушный прием, знал, что по крайней мере один человек в этой деревушке не выдаст его полиции. Когда он подъехал к хижине, мул снова сел под ним — на сей раз ему пришлось перевернуться кубарем, чтобы его не примяло. Он поднялся на ноги, а женщина все следила за ним, как за врагом.

— А, Мария, — сказал он. — Ну, как живешь?

— Да это вы! — воскликнула она. — Вы, отец?

Он не смотрел ей в лицо; в его глазах были хитрость и настороженность. Он сказал:

— Ты меня не узнала?

— Вы изменились. — Чуть презрительно женщина оглядела его с головы до ног. Она сказала: — Когда это вы обзавелись такой одеждой, отец?

— Неделю назад.

— А свою куда дели?

— Обменял на эту.

— Зачем? Одежда у вас была хорошая.

— Она очень истрепалась... и в глаза бросается.

— Я бы все починила и спрятала. Не надо было менять. В этой у вас совсем простой вид.

Он улыбнулся, опустив голову, и она выговаривала ему, точно экономка, — как в прежние годы, когда у него, у священника, был дом и были собрания «Детей Девы Марии» и других обществ и приходские сплетни, но только не... Не глядя на нее, он тихо спросил с той же смущенной улыбкой:

— А как Бригитта? — Сердце у него екнуло при звуке этого имени. Грех чреват огромными последствиями. Прошло шесть лет с тех пор, как он был... дома.

— Ничего — живет. А вы что думали?

Ему бы порадоваться, но в этом ответе — прямая связь с его грехом. Нельзя радоваться тому, что принадлежит его прошлому. Он машинально проговорил:

— Вот и хорошо, — а в сердце его билась мучительная тайная любовь. — Я очень устал, — сказал он. — Около Сапаты полиция чуть было...

— А почему вы не пошли на Монтекресто? Он с тревогой взглянул на нее. Не такой встречи он ждал. Между хижинами собрались кучкой люди и наблюдали за ним с безопасного расстояния. На площади стояли небольшие полуразвалившиеся подмостки для музыкантов и единственный ларек, где продавалась минеральная вода. Люди вынесли из хижин стулья — посидеть вечером на воздухе. Никто



не подошел к нему поцеловать руку, получить благословение. Словно содеянный им грех низвел его в гущу людскую, чтобы он постиг не только отчаяние и любовь, но и то, что человек может быть нежеланным гостем даже в своем собственном доме. Он сказал:

— Там были «красные рубашки».

— Ну что ж, отец, — сказала женщина. — Прогонять вас мы не станем. Пойдемте со мной. — Он покорно шагнул следом за ней, путаясь в своих длинных крестьянских штанах, и счастье стерлось с его лица, а улыбка осталась, как нечто чудом уцелевшее после крушения. На поляне было человек семь-восемь мужчин, две женщины и несколько ребятишек. Он шел мимо этих людей, как нищий. Ему вспомнился последний приход сюда — веселье, тыквенные бутылки, выкопанные из ям... Его прегрешение было все еще свежо, но какую встречу ему оказали! Тогда он появился в их златной тюрьме как свой человек, как изгнанник, вернувшийся на родину богачом.

— Это наш священник, — сказала женщина. Может быть, меня просто не узнали здесь, подумал он, выжидая. Они стали подходить к нему один за другим, целовали ему руку и отступали назад, не сводя с него глаз. Он сказал:

— Я рад видеть вас... — и хотел добавить «дети мои», но вдруг решил, что только бездетному дано право называть чужих людей своими детьми. Теперь, подчиняясь родителям, к нему стали подходить один за другим и целовать ему руку настоящие дети. По молодости лет они не помнили, что в прежние времена священники носили черную одежду и глухие воротнички и протягивали для поцелуя холеные мягкие и покровительственные руки. Они не понимали, почему с таким уважением относятся к крестьянину — такому же, как их отцы. Он не смотрел им в лицо, но все же внимательно наблюдал за ними. Вот две девочки — одна худенькая, изможденная. Сколько ей лет — пять, шесть, семь? Трудно сказать. А другую голод так обточил, что в ней появилось что-то не по годам хитрое и злобное. Из глаз этого ребенка смотрела женщина. Дети молча разбежались: они были чужие ему.

Один из мужчин спросил:

— Вы надолго к нам, отец?

Он ответил:

— Я думал... может, отдохну здесь... несколько дней.

Другой сказал:

— А если вам проехать немного дальше на север, отец, — в Пуэблито?

— Мы с мулом в дороге уже двенадцать часов.

И тут женщина вступилась за него. Оно сердито сказала:

— Он заночует здесь. Это самое малое, что мы можем для него сделать. Он сказал:

— Я отслужу мессу утром, — точно предлагал им взятку, но принято это было с таким смущением, с такой неохотой, точно взятка давалась крадеными деньгами.

Кто-то сказал:

— Если вам все равно, отец, тогда рано утром... или, может, ночью...

— Что с вами такое? — сказал он. — Чего вы боитесь?

— Вы разве не слышали?

— О чем?

— Теперь берут заложников — во всех деревнях, где вы могли быть, по их расчетам. И если никто ничего не скажет... тогда расстрел... а потом возьмут других. Так было в Консепсьоне.

— В Консепсьоне? — У него начало дергаться веко — вверх-вниз, вверх-вниз. Столь банальным способом тело выражает волнение, ужас или отчаяние. Он спросил: — Кого? — Они тупо посмотрели на него. Он яростно крикнул: — Кого убили?

— Педро Монтеса.

Он чуть взвизгнул, как собака, — такова нелепая стенография горя. Старенькая девочка засмеялась. Он сказал:

— Почему не схватили меня? Болваны. Почему меня не схватили? — Девочка снова засмеялась. Он уставился на нее, ничего не видя перед собой, а только слыша смех. Счастье снова умерло, так и не успев сделать первого вдоха. Он был как женщина с мертворожденным ребенком — скорее похоронить, забыть и завести другого. Может, этот выживет.

— Вы понимаете, отец, — сказал кто-то из мужчин, — почему...

Он чувствовал себя преступником, представшим перед судьями. Он сказал:

— Так лучше, как... падре Хосе в столице? Вы слышали про него?

Их ответ прозвучал неуверенно:

— Нет, так не надо, отец.

Он сказал:

— Да что я? Этого никому не надо — ни вам, ни мне. — И добавил резко, властно: — Я лягу спать. За час до рассвета разбудите меня... Полчаса на исповедь... Потом месса, и я уйду.

Но куда? В каждой деревне, во всем штате, он будет нежеланным, опасным гостем.

Женщина сказала:

— Пойдемте, отец.

Он вошел следом за ней в маленькую комнатку, где все было сколочено из пустых ящиков — стул, дощатая кровать с соломенной циновкой, короб, покрытый куском материи, на нем — керосиновая лампа. Он сказал:

— Я никого не хочу выживать отсюда.

— Это мое жилье.

Он бросил на нее недоверчивый взгляд:

— А ты где будешь спать?

Он боялся, что женщина посягнет на него, и украдкой следил за ней. Неужели только это и есть в браке — отговорки, и подозрительность, и чувство неловкости? Когда люди на исповеди рассказывали ему о своих любовных делах, неужели только это и было за их признаниями — жесткая кровать, и суетливая женщина, и нежелание говорить о прошлом?..

— Выплюсь, когда вы уйдете.

Свет за лесом начал спадать, и длинные тени деревьев указующим перстом протянулись к двери. Он лег на кровать, а женщина чем-то занялась в другом углу: он слышал, как она скребет земляной пол. Спать он не мог. Значит, долг велит ему бежать отсюда? Не раз пытался он скрыться, и всегда что-то мешало... а здешние люди хотят, чтобы он ушел. Никто не станет удерживать его, никто не скажет, что больна женщина, что умирает старик. Теперь он сам как болезнь.

— Мария, — сказал он. — Мария, что ты там делаешь?

— Я приберегла для вас немножко бренди. Он подумал: если я уйду, то встречу где-нибудь других священников, они исповедуют меня, я покаюсь, получу отпущение грехов, и снова передо мной будет вечная жизнь. Церковь учит, что первый долг человека — спасти свою душу. В голове у него бродили простые мысли об аде и рае. Жизнь без книг, без общения с образованными людьми вышелушила из его памяти все, кроме простейших понятий о тайне Бога.

— Вот, — сказала женщина. В руках у нее была аптекарская бутылочка с бренди.

Если уйти, им ничто не будет грозить и не будет у них перед глазами его примера. Он единственный священник, которого запомнят дети. И от него они почерпнут свое представление о вере. Но ведь именно он, а не кто другой, влагал этим людям тело Христово в уста. А если уйти отсюда, тогда Бог исчезнет на всем этом пространстве между горами и морем. Не велит ли ему долг остаться здесь — пусть презирают, пусть из-за него их будут убивать, пусть его пример совратит их. Эта задача была неразрешима, непосильна. Он лежал, закрыв глаза руками; на этой широкой болотистой полосе земли нет никого, кто дал бы ему совет, как быть. Он поднес бутылочку ко рту.

Он робко проговорил:

— А Бригитта... Как она... Здорова?

— Ведь вы ее только что видели.

— Не может быть. — Ему не верилось, что он мог не узнать ее. Это превращало в насмешку его смертный грех: разве можно совершить такое, а потом даже не узнать...

— Да она была там. — Мария подошла к двери и крикнула: — Бригитта, Бригитта! — А священник повернулся на бок и увидел, как из внешнего мира, мира страха и похоти, в хижину вошла та маленькая злобная девочка, которая смеялась над ним.

— Подойди к отцу и поговори с ним, — сказала Мария. — Ну, иди.

Он хотел спрятать бутылку, но не знал куда... сжал ее в руке, чтобы она казалась меньше, и посмотрел на девочку, чувствуя, как человеческая любовь сжала его сердце.

— Она знает катехизис, — сказала Мария, — только не захочет отвечать...

Девочка стояла, меряя его острым, презрительным взглядом. Ее зачатие не осветилось любовью; только страх, отчаяние, и полбутылки бренди, и чувство одиночества толкнули его на шаг, казавшийся ему теперь ужасным. И вот что из этого получилось — робкая, стыдливая, захлестнувшая его любовь. Он сказал:

— А почему? Почему ты не хочешь отвечать катехизис? — и забегал глазами по сторонам, не глядя ей в лицо, чувствуя, как сердце, точно старая паровая машина, неровно бьется в груди, в тщетном порыве уберечь эту девочку от... от всего.

— А зачем?

— Так угодно Богу.

— Откуда вы знаете?

Великое бремя ответственности легло ему на плечи — бремя, неотделимое от любви. То же самое, подумал он, должно быть, чувствуют все родители. Вот так и проходят по жизни простые люди — скрещивают пальцы, охраняясь от бед, молят Бога об избавлении от страданий, всего боятся... А мы избавляем себя от этого недорогой ценой, лишаясь сомнительной телесной услады. Правда, он долгие годы нес ответственность за людские души, но это совсем другое дело... этот груз легче. На Бога можно положиться, Бог снизойдет, а можно ли ждать снисхождения от черной оспы, от голода, от мужчин...

— Милая моя, — сказал он, крепче сжимая бутылочку в руках. Он крестил эту девочку в свой последний приход. Она была как тряпичная кукла с морщинистым, старческим лицом — такая, казалось, недолго проживет... Тогда он ничего не чувствовал, кроме сожаления, и даже стыдиться ему было нечего, потому что никто его не корил. Других священников здесь почти не знали — и представление о священническом сане эти люди получали от него. Все, даже женщины.

— Вы тот самый гринго?

— Какой гринго?

Женщина сказала:

— Вот глупая! Это она потому, что полиция искала здесь одного человека.

Странно, разыскивают не только меня, подумал он.

— В чем этот человек провинился?

— Он янки. Убил кого-то на севере.

— А почему его ищут здесь?

— В полиции считают, что он пробирается в Кинтана-Роо — на каучуковые плантации. — Там заканчивали побег большинство преступников в Мексике: на плантациях можно было работать и получать хорошее жалованье и никто тебя не трогал.

— Вы тот самый гринго? — повторила девочка.

— Разве я похож на убийцу?

— Не знаю.

Если уйти из этого штата, значит, и ее оставить, и ее бросить. Он смиренно спросил у женщины:

— А можно мне побыть здесь несколько дней?

— Слишком опасно, отец.

Он поймал взгляд девочки, и ему стало страшно. Снова из ее глаз смотрела женщина, задумывающая козни, повзрослевшая до срока, слишком много всего знающая. Он словно видел свой смертный грех, который взирал на него без тени раскаяния. Ему захотелось поговорить с этой девочкой — с девочкой, но не с женщиной. Он сказал:

— Моя милая, в какие игры ты играешь? — Девочка захихикала. Он быстро отвел от нее глаза и посмотрел вверх: под крышей ползал паук. Ему вспомнилась пословица — она возникла из глубин его детства: ее любил повторять его отец: «Нет ничего лучше запаха хлеба, нет ничего вкуснее соли, нет ничего теплее любви к детям». Детство у него было счастливое, только он всего боялся и ненавидел нищету не меньше, чем преступление. Он верил: стану священником и буду богатый и гордый — это называлось иметь призвание. Какой длинный путь проходит человек по жизни — от первого волчка и вот до этой кровати, на которой он лежит, сжимая в руке бутылочку с бренди! А для Бога это лишь мгновение. Хихиканье девочки и первый смертный грех ближе друг к другу, чем два взмаха ресниц. Он протянул к ней руку, словно силой можно было отторгнуть ее от... от чего? Но такой силы у него нет. Мужчина или женщина, которые постараются окончательно развратить этого ребенка, может, еще не родились. Как уберечь ее от того, что еще не существует?

Она отскочила назад и показала ему язык. Женщина сказала:

— Ах ты, чертенок! — и занесла руку.

— Не надо, — сказал священник. — Не надо! — Он приподнялся и сел на кровати. — Не смей...

— Я ей мать.

— Нет у нас такого права. — Он сказал девочке: — Будь у меня карты, я бы научил тебя фокусам. А ты бы показывала их своим друзьям... — Никогда он не умел говорить с детьми, разве только с кафедры. Девочка смотрела на него нагло. Он сказал: — А ты умеешь сигнализировать стуком — длинный, короткий, длинный?

— Да что это вы, отец! — воскликнула женщина.

— Это такая детская игра. Я знаю.

Он спросил девочку:

— А друзья у тебя есть?

Она снова прыснула, глядя на него всепонимающим взглядом. Тельце у нее было как у карлицы; в нем пряталась отталкивающая зрелость.

— Уходи отсюда, — сказала женщина. — Уходи, пока я тебя не проучила.

Она состроила напоследок дерзкую и злобную гримасу и ушла — от него, может быть, навсегда. С теми, кого любишь, не всегда прощаешься мирно, в дымке ладана у их смертного одра. Он сказал:

— Можем ли мы чему-нибудь научиться?.. — и подумал о том, что вот он умрет, а она будет жить. Его ждут адские муки — видеть, что эта девочка унаследовала отцовские пороки, как туберкулез, и катится все ближе и ближе к отцу сквозь унижительные годы позора. Он лег на кровать, отвернувшись от проникающего в хижину света, и притворился спящим, хотя заснуть не мог. Женщина занималась своими мелкими делами, а когда солнце зашло, в комнату налетели москиты, безошибочно, как матросские ножи, вонзаясь в свою цель.

— Повесить сетку, отец?

— Нет, не нужно. — За последние десять лет его столько раз трепала лихорадка, что он потерял счет приступам и перестал остерегаться. Приступы начинались и проходили, ничего не меняя в его жизни, — они стали частью его обихода. Потом женщина вышла на улицу и стала судачить с соседками. Он удивился и даже почувствовал облегчение, видя такую способность все забывать. Семь лет назад каких-нибудь пять минут они были любовниками, если таким словом можно назвать их отношения — ведь она ни разу не обратилась к нему по имени. Для нее это был всего лишь короткий эпизод, царапина, быстро зажившая на здоровом теле; она даже гордилась тем, что была любовницей священника. Он один носил свою рану — для него тогда будто наступил конец мира.

На улице было темно — ни малейших признаков рассвета. Человек двадцать сидели на земляном полу самой большой хижины и слушали его. Он с трудом различал их; огоньки свечей, прилепленных к ящику, тянулись вверх — дверь была закрыта, и ветерок не проникал в хижину. В поношенных крестьянских штанах и рваной рубашке он стоял между людьми и свечами и говорил о райском блаженстве. Люди покашливали и беспокойно ерзали на месте; он знал, что они ждут не дождутся конца службы; его разбудили очень рано, так как, по слухам, полицейские были близко.

Он говорил:

— Один из отцов церкви сказал нам, что радость всегда связана со страданием. Страдание — это часть радости. Нас мучает голод, и вспомните, какое это наслаждение, когда мы наконец можем насытиться. Мы жаждем... — Он замолчал, приглядываясь к людским теням, ожидая, что сейчас послышатся едкие смешки, но никто не засмеялся. Он сказал: — Мы лишаем себя многого, чтобы потом насладиться. Вы слышали о богачах в северных странах, которые едят соленое, чтобы

возжаждать того, что называется у них коктейль. До свадьбы, после помолвки, проходит долгий срок и... — Он снова замолчал. Он недостоин — это чувство гирей висело у него на языке. В хижине запахло горячим воском: одна свеча подтаяла в нестерпимой ночной жаре. Люди ерзали на жестком полу. Тяжелый дух от давно не мытых человеческих тел забивал запах воска. Голос его зазвучал упрямо, властно: — Вот почему я говорю вам: рай здесь, на земле. Ваша жизнь есть часть райского блаженства, точно так же, как страдание есть часть радости. Молитесь, чтобы Господь посылал вам все больше и больше страданий. Не гоните от себя страдания. Полиция, которая следит за вами; солдаты, которые собирают с вас налоги; хефе, который бьет вас, когда вы по бедности не можете платить ему; черная оспа, лихорадка, голод... все это приближает вас к райскому блаженству. Как знать, может, не испытав всего этого, вы не вкусите блаженства полностью. Оно будет незавершенным. А райские кущи? Что такое райские кущи? — Гладкие, литературные фразы, пришедшие к нему на память из другой жизни — строгой, размеренной жизни в семинарии, — путались у него на языке. Названия драгоценных камней. Иерусалим золотой. Но эти люди никогда не видали золота.

Он продолжал, запинаясь:

— Рай там, где нет ни хефе, ни несправедливых законов, ни налогов, ни солдат, ни голода. И дети ваши не умирают в раю. — Дверь приоткрылась, и кто-то проскользнул в хижину. В темноте, куда не достигал свет, послышался шепот. — На небесах нечего бояться, там ничто вам не будет грозить. Там нет «красных рубашек». Там нет старости. Там никогда не гибнет урожай. Да, легко перечислить все, чего не будет в раю. А что там есть? Господь. Что такое Господь, понять трудно. Слова обозначают лишь то, что мы познаем нашими чувствами. Мы говорим «свет», но видим солнце, мы говорим «любовь»... — Ему трудно было сосредоточиться: полицейские уже близко. Тот человек, наверно, пришел предупредить. — Любовь, может быть, — это только ребенок... — Дверь снова приоткрылась; он увидел день, занимавшийся снаружи, серый, как грифельная доска. Чей-то голос настойчиво шепнул ему:

— Отец

— Да?

— Полицейские близко, за милую отсюда, идут лесом. Он уже привык к этому — слова, сказанные впустую, скомканный конец мессы, ожидание мук, которые станут между ним и верой. Он упрямо проговорил:

— И прежде всего запомните: рай здесь, на земле. — Верхом они или пешие? Если пешие, тогда у него осталось двадцать минут на то, чтобы кончить мессу и скрыться. — Здесь в эту самую минуту ваш страх и мой грех — часть райского блаженства, когда страх уйдет от нас на веки вечные. — Он повернулся к ним спиной и стал быстро читать «Верую». И вспомнил, как служил мессу, трепеща от ужаса. — это было в тот раз, когда впервые после содеянного смертного греха ему пришлось вкушать тело и кровь Господню. Но потом жизнь нашла для него оправдание — в конце концов, не так уж было важно, лежит ли на нем проклятие или нет, лишь бы люди...

Он поцеловал край ящика, повернулся к молящимся, благословляя их... и разглядел в неверном свете двух мужчин, которые опустили на колени, раскинув руки крестом. Так они и простоят, пока не совершится освящение даров, — еще одно страдание в их суровой, мучительной жизни. Он сокрушенно подумал, что эти простые люди несут свои муки добровольно; его же муки навязаны ему силой.

— Господи, возлюбил я великолепие дома твоего... Свечи сильно чадили, молящиеся переминались на коленях. И глупое счастье снова вспыхнуло в нем, обгоняя страх. Словно ему было дозволено взглянуть на тех, кто населяет небеса. У них, наверно, и должны быть такие вот испуганные,

смирные изможденные лица. На миг он почувствовал огромное удовлетворение от того, что может говорить с этими людьми о страдании, не кривя душой, ибо гладкому, сытому священнику трудно восхвалять нищету. Он стал молиться; длинный перечень апостолов и великомучеников звучал как чьи-то мерные шаги — «Жорнелия, Киприана, Лаврентия, Хризогона»; скоро полицейские дойдут до просеки, где мул сел под ним и где он умывался в луже. Латинские слова перебивали одно другое в его торопливой речи. Он чувствовал вокруг нетерпение и приступил к освящению даров (облатки у него давно кончились — вместо них Мария дала ему кусок хлеба). Нетерпение вокруг разом исчезло. С годами все потеряло для него смысл, кроме: «Кто в канун дня своих страданий взял хлеб в святые и досточтимые руки свои...» Пусть те движутся там, по лесной тропе, здесь, в хижине, никакого движения не было. «Hoc est enim Corpus Meum» [сие есть Тело Мое (лат.)]. До него донеслись облегченные вздохи. Господь снизошел к ним во плоти — впервые за последние шесть лет. Вознеся святые дары, он увидел перед собой запрокинутые назад головы, точно это были не люди, а изголодавшиеся собаки. Он святил вино в шербатой чашке. Вот еще одно попущение — два года он носил с собой настоящую чашу. Однажды чаша эта чуть не стоила ему жизни, но полицейский офицер, который открыл его портфель, был католик. Возможно, это стоило жизни самому офицеру, если кто-нибудь обнаружил, что он не выполнил своего долга. Как знать? Творишь мучеников на своем пути — и в Консепсьоне, и в других местах, — а сам недостоин даже смерти.

Освящение прошло в тишине, колокольчик не звенел. Измучившись, не имея сил прочитать молитву, он стал на колени перед ящиком. Кто-то приоткрыл дверь; послышался настойчивый шепот:

— Пришли.

Значит, не пешие, мелькнуло у него в голове. Где-то в полной тишине рассвета — не дальше, чем за четверть мили отсюда, — заржала лошадь.

Он поднялся с колен — рядом с ним стояла Мария. Она сказала:

— Скатерку, отец, дайте мне скатерку. — Второпях он сунул причастный хлеб себе в рот и выпил вино: нельзя допускать святотатства. Скатерть с ящика исчезла мгновенно. Мария затушила свечи пальцами, чтобы не осталось запаха; хижина опустела, только хозяин ее задержался у входа поцеловать ему руку. Мир за дверью был едва различим, где-то в деревне запел петух. Мария сказала:

— Идемте ко мне, скорее.

— Нет, я уйду. — Он не знал, что ему делать. — А то найдут здесь.

— Деревню окружили.

И это конец? — подумал он. Страх затаился, прежде чем броситься на него, но он еще не боялся. Он побежал следом за женщиной через всю деревню, машинально твердя на бегу слова покаяния. Когда же придет страх? — думал он. Ему было страшно, когда полицейский открыл его портфель, но с тех пор миновало много лет. Ему было страшно прятаться среди бананов в сарае и слушать, как девочка спорит с полицейским офицером, — с тех пор миновало лишь несколько недель. Страх, конечно, и на этот раз охватит его. Полицейских не было видно — только серое утро да куры с индейками хлопают крыльями, слетая с деревьев на землю. Вот опять запел петух. Если полицейские действуют с такой осторожностью, значит, у них нет ни малейших сомнений, что он здесь. Значит, конец. Мария дернула его за рукав.

— Входите. Скорее. Ложитесь. — Она, видимо, что-то задумала — женщины народ невероятно практичный: сразу же строят новые планы на развалинах старых. Но какой в этом смысл? Она сказала: — Дышите. О господи, всякий учует... вино... для чего вам могло понадобиться вино? — И снова скрылась в хижине, подняв там суетню, разрушающую безмолвие и покой рассвета. Вдруг из лесу, ярдах в ста от деревни, появился офицер на лошади. Он обернулся назад, махнул рукой, и они

услышали в мертвой тишине скрип его кобуры.

На маленькую просеку со всех сторон выходили полицейские. Они шли, видимо, очень быстро, потому что верхом на лошади ехал только офицер. Волоча винтовки по земле, полицейские двинулись к небольшой кучке хижин, без нужды и довольно нелепо демонстрируя свою силу. У одного размоталась обмотка — наверно, задел за что-нибудь в лесу. Он наступил на нее и упал, стукнул патронташем о ружейную ложу; лейтенант взглянул на него и тут же обратил свое сумрачное, гневное лицо на затихший поселок.

Женщина тащила священника в хижину. Она сказала:

— Откусите. Скорей. Времени мало... — Он повернулся спиной к надвигающимся полицейским и вошел в сумрак ее жилища. В руке у Марии была маленькая луковица. — Откусите, — повторила она. Он откусил, и слезы полились у него из глаз. — Что, лучше? — спросила она. Копыта лошади осторожно — тук, тук — ступали между хижинами.

— Ужасно, — сказал он и хихикнул.

— Дайте. — Луковица исчезла у нее за пазухой. Эта уловка, видимо, была известна всем женщинам. Он спросил:

— Где мой портфель?

— Забудьте про него. Ложитесь.

Но не успел он двинуться с места, как проем двери загородила лошадь; они увидели ногу в сапоге для верховой езды; блеснули медные бляшки: на высокой седельной луке лежала рука в перчатке. Мария коснулась его плеча — самое большее, что она могла позволить себе: нежность была у них под запретом. Кто-то крикнул:

— Выходите! Все выходите! — Лошадь ударила копытом и подняла маленький столбик пыли. — Вам говорят, выходите! — Где-то раздался выстрел. Священник вышел из хижины.

Теперь уже светало по-настоящему; в небе распустились легкие цветные перышки. Полицейский все еще держал винтовку дулом вверх; из дула поднимался серый дымок. Так вот как начинается предсмертная агония?

Из всех хижин неохотно выходили люди — дети выбежали первыми: им было любопытно и совсем не страшно. Взрослые шли с обреченным видом, подчиняясь власти: власть всегда права. На священника никто не смотрел. Они стояли, глядя себе под ноги, и ждали, что последует дальше. Дети глазели только на лошадь, будто это было самое интересное здесь.

Лейтенант сказал:

— Обыскать хижины. — Время тянулось медленно; даже дымок из винтовки неестественно долго держался в воздухе. Из свинарника с хрюканьем вышла свинья; в середину людского круга, распушив свои пыльные перья и мотая длинной розовой пленкой, со злобным чванством проследовал индюк. К лейтенанту подошел полицейский и небрежно отдал ему честь. Он сказал:

— Все здесь.

— Ничего подозрительного не обнаружили?

— Ничего.

— Обыщите еще раз.

Время опять остановилось, как испортившиеся часы. Лейтенант вынул из кармана портсигар, повертел его в руках и сунул обратно. И снова подошел к нему полицейский и доложил:



— Ничего.

Лейтенант рявкнул:

— Внимание! Слушайте меня. — Кольцо полицейских сомкнулось, сгоняя людей к лейтенанту. — только детей не тронули. Священник увидел, что его дочь стоит рядом с лейтенантской лошастью: она могла достать только чуть повыше его сапога и, протянув руку, дотронулась до кожного голенища. Лейтенант сказал: — Я разыскиваю двоих — один иностранец, янки, убийца. Янки здесь нет, это я вижу. За его поимку назначено пятьсот песо. Так что не зевайте. — Он помолчал и обвел всех взглядом; священник почувствовал, что глаза остановились на нем; как и остальные, он смотрел себе под ноги. — Другой, — сказал лейтенант, — священник. — Он повысил голос: — Вы понимаете, что такое священник? Предатель республики. Каждый, кто укроет его, тоже предатель. — Их неподвижность выводила лейтенанта из себя. Он сказал: — Если вы верите словам этих священников, значит, вы глупцы. Им нужно от вас только одно — деньги. Чем помог вам Бог? Вы сами сыты? А дети ваши сыты? Вместо того чтобы насытить вас, священники разглагольствуют о царстве небесном. Вот умрете, говорят они, и все будет прекрасно. А я говорю вам — все будет прекрасно, когда они умрут, и поэтому вы должны нам помочь. — Девочка не снимала руки с его сапога. Во взгляде, которым лейтенант посмотрел на нее, была затаенная нежность. Он убежденно проговорил: — Этот ребенок стоит большего, чем папа римский. — Полицейские стояли опершись о винтовки; один зевнул. Индюк с громким шипением проследовал назад, к хижинам. Лейтенант сказал: — Если вы видели этого священника, говорите. Вознаграждение семьсот песо.

Все молчали.

Лейтенант дернул лошадь за уздцы и повернул ее головой к ним. Он сказал:

— Нам известно, что он в этих местах. Вы, может, не знаете, что случилось с человеком из Консепсьона? — Одна женщина заплакала. Он сказал: — Подходите ко мне по очереди и называйте свое имя. Нет, не женщины — мужчины.

Они хмуро потянулись к нему цепочкой, и он спрашивал их:

— Как зовут? Чем занимаешься? Женат? Которая твоя жена? Ты слышал про этого священника? — Только один человек оставался теперь между священником и головой лошади. Священник начал читать про себя покаянную молитву, почти не вдумываясь в слова:

— ...мои прегрешения, ибо они распяли Спасителя нашего на кресте... и что еще тяжелее, ими я оскорбил... — Теперь он один стоял перед лейтенантом. — Обещаю отныне никогда больше не оскорблять Тебя... — Это были всего лишь слова, но ведь человеку надо как-то подготовиться. С таким же успехом он мог написать завещание — вероятно, столь же бесполезное.

— Как зовут?

Он вспомнил расстрелянного из Консепсьона и сказал:

— Монте.

— Видел этого священника?

— Нет.

— Чем занят?

— У меня немного земли.

— Женат?

— Да.

— Которая твоя жена?

И вдруг заговорила Мария:

— Это я. Что вы все спрашиваете и спрашиваете! Похож он, по-вашему, на священника?

Лейтенант стал разглядывать что-то, лежавшее у него на седельной луке, — какую-то затрепанную фотографию.

— Покажи руки, — сказал он.

Священник поднял их; они были заскорузлые, как у рабочего. Лейтенант вдруг наклонился с седла и потянул носом, принюхиваясь к его дыханию. Люди хранили полное молчание — зловещее молчание. Лейтенант почувствовал в нем страх. Он присмотрелся к исхудалому, покрытому щетиной лицу и снова посмотрел на фотографию.

— Ладно, — сказал он. — Следующий, — и лишь только священник отступил в сторону, добавил: — Подожди. — Он положил руку Бригитте на голову и осторожно потянул ее за жесткие черные волосы: — Взгляни на меня. Ты ведь всех здешних знаешь?

— Да, — сказала она.

— Кто этот человек? Как его зовут?

— Не знаю, — сказала девочка. Лейтенант затаил дыхание:

— Не знаешь, как его зовут? Он чужой?

Мария вскричала:

— Да она даже своего имени не знает! Спросите у нее, кто ей отец.

Девочка посмотрела лейтенанту в лицо, потом перевела свои хитрые глаза на священника.

— Прости же мне все мои прегрешения, — повторял он про себя, скрестив пальцы на счастье.  
Девочка сказала:

— Вот этот. Вот он.

— Хорошо, — сказал лейтенант. — Следующий. — Опрос продолжался: — Как зовут? Работаешь? Женат? — А солнце все выше поднималось над лесом. Священник стоял, сжав перед собой руки; смерть снова отступила на какое-то время. Его терзало искушение броситься лейтенанту в ноги и признаться: «Я тот, кого вы ищете». И тогда расстреляют тут же, на месте? Его манил обманчивый соблазн покоя. Высоко в небе дежурил стервятник; с такой высоты люди, должно быть, как две стаи плотоядных зверей, готовых в любую минуту броситься друг на друга, и стервятник крошечной черной точкой маячил в небе, дожидаясь падали. Смерть еще не конец мучениям, вера в покой — это ересь.

Последний человек прошел допрос.

Лейтенант сказал:

— Так никто не хочет нам помочь?

Люди молча стояли у полуразвалившихся подмостков. Он сказал:

— Вы слышали, что было в Консепсьоне? Мы взяли там заложника. А когда выяснилось, что священник был в тех местах, я расстрелял того человека у ближайшего дерева. А узнали мы это потому, что всегда найдется кто-нибудь, кто вдруг передумал. Может, он любил жену того человека и хотел убрать его с пути. Доискиваться до причин не мое дело. Но что я знаю, то знаю — потом мы нашли вино в Консепсьоне. Может, и в вашей деревне есть человек, который зарится на чью-то землю или на корову. Лучше говорите сразу, потому что здесь я тоже возьму заложника. — Он помолчал.

Потом начал снова: — Если он среди вас, тогда и говорить ничего не надо. Посмотри на него. Никто не узнает, что это ты его выдал. И он сам ничего не узнает... если ты боишься его проклятий. Ну... это ваша последняя возможность.

Священник стоял, опустив голову, — он не хотел затруднять того, кто его выдаст.

— Хорошо, — сказал лейтенант. — Тогда придется мне выбрать заложника. Вы сами на себя это навлекли.

Он сидел в седле и смотрел на них. Прислонив винтовку к подмосткам, полицейский поправлял спустившуюся обмотку. Люди по-прежнему стояли, опустив головы; они боялись встретиться взглядом с лейтенантом. И вдруг он взорвался:

— Почему вы не доверяете мне? Я никого не хочу убивать. Неужели вам не понятно — в моих глазах вы все стоите большего, чем он. Я готов... — Он широко развел руки, но этот жест пропал, потому что никто его не видел. — Я готов дать вам все. — И проговорил тусклым голосом: — Ты. Вот ты. Я возьму тебя.

— Это мой сын. Это Мигель. Не берите моего сына. — пронзительно закричала одна из женщин.

Он проговорил таким же тусклым голосом:

— Каждый здесь чей-нибудь муж или чей-нибудь сын. Это я знаю.

Священник молчал, сжав руки; пальцы у него побелели. Он чувствовал, что вокруг начинает расти ненависть, потому что он никому здесь не приходился ни мужем, ни сыном. Он сказал:

— Лейтенант...

— Что тебе?

— Я уже стар, мне не под силу работать в поле. Возьмите меня.

Из-за угла хижины, никого не остерегаясь, выбежало несколько свиней. Полицейский поправил свою обмотку и выпрямился. Солнце, выходявшее из-за леса, подмигивало лучами на бутылках минеральной воды в ларьке.

Лейтенант сказал:

— Я беру заложника, а не предлагаю даровой стол и жилье лентяям. Если ты не годен в поле, так и в заложниках тебе нечего делать. — Он скомандовал: — Свяжите ему руки и уведите отсюда.

Полицейским не понадобилось много времени, чтобы убраться из деревни. — они взяли с собой двух-трех куриц, индюшку и человека по имени Мигель. Священник сказал вслух:

— Я сделал все что мог. Это ваше дело — выдать меня. Чего вы ждали? Мое дело — не попасться.

Один из крестьян сказал:

— Ничего, отец. Только вы уж посмотрите... не осталось бы после вас вина... Как в Консепсьоне.

Другой сказал:

— Нельзя вам здесь оставаться, отец. В конце концов вас все равно поймают. Они не забудут вашего лица. Идите лучше на север, в горы. Через границу.

— Там, через границу, хороший штат, — сказала какая-то женщина. — У них все еще есть церкви. Ходить в них, конечно, нельзя, но они стоят, как стояли. Говорят, будто в городах даже есть

священники. Одна моя родственница перешла через горы в Лас-Касас и слушала там мессу — в чьем-то доме, с настоящим алтарем, и священник был в облачении, как в прежние времена. Там вам будет хорошо, отец.

Священник пошел за Марией к ней в хижину. Бутылочка с бренди лежала на столе; он коснулся ее кончиками пальцев — бренди в ней оставалось на дне. Он сказал:

— А мой портфель, Мария? Где мой портфель?

— С ним опасно теперь ходить, — сказала Мария.

— А в чем же я понесу вино?

— Вина больше нет.

— Как так?

Она сказала:

— Я не хочу навлекать беду ни на вас, ни на других людей. Бутылку я разбила. Пусть на меня ляжет проклятие за это.

Он сказал мягко и грустно:

— Нельзя быть такой суеверной. Это же обыкновенное вино. В вине нет ничего священного. Только его трудно достать здесь. Вот почему у меня был запас в Консепсьоне. Но его нашли.

— Теперь, может, вы уйдете — совсем уйдете? Вы здесь больше никому не нужны, — яростно проговорила она. — Неужели это не понятно, отец? Вы нам больше не нужны.

— Да, да, — сказал он. — Понимаю. Но разве дело в том, что вам нужно... или что мне нужно...

Она со злостью сказала:

— Я кое в чем разбираюсь. Недаром ходила в школу. Я не как остальные — они темные. Вы плохой священник. Мы с вами были вместе, но это не единственный ваш грех. До меня доходили кое-какие слухи. Вы думаете, Бог хочет, чтобы вы остались здесь и погибли, вы, пьющий падре? — Он стоял перед ней так же, как перед лейтенантом, и терпеливо слушал. Вот, значит, какая она, эта женщина. Она сказала: — Ладно, вас расстреляют. Значит, умрете мучеником? Хороший же из вас получится мученик. Смех, да и только.

Ему никогда не приходило в голову, что его могут счесть мучеником. Он сказал:

— Мученик... это очень трудно. Я об этом подумаю. Я не хочу, чтобы над Церковью насмехались.

— Вот перейдете границу, тогда и думайте.

— Да...

Она сказала:

— Когда у нас с вами было то самое, я гордилась. Ждала — вот вернутся прежние времена... Не каждая женщина может стать любовницей священника. А ребенок... Я надеялась, что вы много чего сделаете для нее. Но пользы от вас как от вора...

Он рассеянно проговорил:

— Среди воров было много хороших людей.

— Уходите отсюда, ради всего святого! И заберите ваше бренди.

— Там кое-что было, — сказал он. — У меня в портфеле были...

— Тогда ищите свой портфель на свалке. Я и пальцем до него не дотронусь.

— А девочка? — сказал он. — Ты хорошая женщина, Мария... Я вот о чем: сделай все, чтобы она выросла... истинной христианкой.

— Из нее ничего путного не получится, это и сейчас видно.

— Не может она быть такой уж дурной... в ее-то возрасте, — умоляюще проговорил он.

— С чего начала, тем и кончит.

Он сказал:

— Следующую мессу я отслужу за нее.

Мария уже не слушала его. Она сказала:

— Девчонка дрянная, насквозь дрянная.

Он чувствовал, как вера умирает здесь, в тесноте между кроватью и дверью. Месса скоро будет значить для людей не больше черной кошки, перебежавшей дорогу. Он рисковал их жизнью ради того, что было для них простым суеверием, чем-то вроде просыпанной соли или скрещенных пальцев. Он начал было:

— Мой мул...

— Ему засыпали кукурузы, — сказала она, потом добавила: — И уходите к северу. На юге уже опасно.

— Я думал, может, в Кармен...

— Там ведут слежку.

— Ну что ж... — Он грустно сказал: — Вот жизнь немножко наладится, тогда, может быть...

— И, сделав знак креста в воздухе, благословил ее, но она стояла перед ним, еле сдерживая нетерпение, и ждала, когда же он уйдет отсюда навсегда.

— Ну что ж, прощай, Мария.

— Прощайте.

Сгорбившись, он пошел через площадь. Он чувствовал, что все до одного в этой деревне с радостью следят за его уходом — уходом смутьяна, которого они из суеверия или по каким-то другим непонятным причинам не захотели выдать полиции. Он завидовал тому гринго — его бы они заманили в ловушку со спокойной душой. Этому человеку по крайней мере не надо таскать за собой бремя благодарности.

Внизу под откосом, изрытым копытами мулов и вкривь и вкось перерезанным древесными корнями, текла река фута в два глубины. На берегу валялись пустые консервные банки и битое стекло. Под прибитой к дереву надписью: «Мусор выбрасывать запрещается» — громоздилась куча отбросов со всей деревни, постепенно сползающая в реку. Когда начнутся дожди, это все унесет водой. Он ступил на груды банок и гнилых овощей, поднял свой портфель и вздохнул: портфель был хороший — тоже память о прежних мирных днях. Пройдет месяц-другой, и не вспомнишь, что когда-то жизнь шла совсем по-иному. Замок был сорван; он просунул руку под шелковую подкладку...

Бумаги оказались на месте; он с сожалением бросил свой портфель в кучу мусора. Вся его молодость, полная такого значения и милая его сердцу, канула среди консервных банок. Этот портфель он получил в подарок от прихожан в Консепсьоне к пятой годовщине своего рукоположения... За деревом кто-то шевельнулся. Он вытащил ноги из мусора под гуденье мух, поднявшихся с кучи, и, зажав бумаги в руке, обошел ствол — посмотреть, кто за ним подглядывает.

Девочка сидела на корне и постукивала о него пятками. Глаза у нее были крепко зажмурены. Он сказал:

— Милая, кто тебя обидел? — Глаза открылись — злые, покрасневшие — и со смехотворной гордостью посмотрели на него.

Она сказала:

— Ты... ты.

— Я?

— Ты меня обидел.

Он шагнул к ней с величайшей осторожностью, точно это был пугливый зверек. Щемящее чувство разлило слабость по всему его телу. Он сказал:

— Я? Чем же?

Она злобно сказала:

— Они смеются надо мной.

— Из-за меня?

Она сказала:

— У каждого есть отец... он работает.

— Я тоже работаю.

— Ты ведь священник?

— Да.

— Педро говорит, ты не мужчина. Женщине с тобой делать нечего. Я не понимаю, что это значит.

— Он, видно, сам не понимает.

— Нет, понимает, — сказала она. — Ему десять лет. И я тоже хочу понять. Ты уходишь он нас?

— Да.

Она выхватила улыбку из своего обширного, разнообразного запаса, и он снова ужаснулся ее зрелости.

— Скажи мне... — прошептала она, словно ластясь к нему. Она сидела на корне рядом с кучей мусора, и в ней была какая-то отчаянная удаля. Жизнь уже отметила ее червоточиной. Эта девочка безоружна, у нее нет ни прелести, ни обаяния, которые могли бы послужить ей защитой. Сердце у него заныло, предчувствуя утрату. Он сказал:

— Милая, береги себя...

— От чего? Почему ты уходишь?

Он подошел к ней чуть поближе, думая: может же человек поцеловать свою дочь. Но она отскочила назад.

— Не смей меня трогать, — пискнула она своим старческим голосом и захихикала. Он подумал: дети рождаются со смутным ощущением любви, они впитывают ее с молоком матери, но от их родителей, от их друзей зависит, какая это будет любовь — та, что спасает, или та, что губит. Похоть тоже своего рода любовь. Он уже видел, как она запутывается в жизни, точно муха в паутине; рука Марии, поднятая для удара, Педро, в сумраке нашептывающий то, что ей еще рано знать, и полиция, обшаривающая лес, — всюду насилие. Он стал беззвучно молиться:

— Господи, навлеки на меня любую смерть — без покаяния, в грехе, — только спаси этого ребенка.

Ему надлежало спасать души: когда-то все это казалось так просто — читать проповеди, организовывать религиозные общества, пить кофе с пожилыми дамами в гостиных с зарешеченными окнами, освящать новые дома, чуть помахивая кадиллом, носить черные перчатки... Легче легкого, все равно что копить деньги. Теперь это стало для него тайной. Он сознавал свою полную непригодность.

Он опустил на колени и потянул девочку к себе, а она захихикала и стала отбиваться от него. Он сказал:

— Я люблю тебя. Я твой отец, и я люблю тебя. Пойми, пойми! — Он крепко держал ее за руки, и она вдруг затихла, глядя ему в лицо. Он сказал: — Я бы жизнь отдал, нет, этого мало — душу... Милая, милая, постарайся понять, как ты много значишь! — Вот в чем разница между его верой и верой тех, других: политические вожди народа пекутся лишь о делах государства, республики, а судьба этого ребенка важнее всего континента. Он сказал: — Береги себя, ведь ты так... так нужна. Президент в столице ездит под охраной вооруженных солдат, но тебя, дитя мое, охраняют все ангелы небесные. — Ее глаза — темные, бессмысленные — смотрели на него в упор. И он понял, что пришел слишком поздно. — Прощай, милая, — сказал он и неловко поцеловал ее. Глупый, ослепленный любовью стареющий человек разжал руки и поплелся назад к площади, чувствуя, как за его сгорбленными плечами грязный мир со всех сторон обступает эту девочку, чтобы погубить ее. Мул, оседланный, стоял у ларька с минеральной водой.

— Идите на север, отец, — сказал какой-то человек и помахал ему вслед рукой. Нельзя обременять себя привязанностями, а вернее, надо любить каждую человеческую душу, как свое дитя. Стремление спасти, охранить должно распространяться на весь мир, но оно, словно больное животное, было опутано по ногам и привязано веревкой к дереву. Он повернул мула на юг.

Он ехал буквально по следам полицейского отряда. Если не торопиться и не обгонять отставших, такой путь будет более или менее надежным. Теперь ему надо только достать вино, и вино виноградное; без него он никому не нужен. Тогда уж действительно лучше уйти на север и через горы пробраться в тот благополучный штат, где в крайнем случае на него наложат штраф и на несколько дней посадят в тюрьму, потому что уплатить ему будет нечем. Время окончательной капитуляции еще не настало; он готов был идти на мелкие капитуляции и расплачиваться за них новыми страданиями; к тому же теперь его одолевала потребность принести хоть какую-нибудь жертву за свою дочь. Он останется здесь еще на месяц, еще на год... Трясаясь по лесам на муле, он в виде подкупа давал обещание Господу сохранять твердость духа... Мул вдруг уперся копытами в землю и стал намертво: крохотная зеленая змейка поднялась на тропинке во весь рост и с шипением, как горящая спичка, скрылась в траве. Мул пошел дальше.

Когда они приближались к какой-нибудь деревне, он останавливал мула и подходил к хижинам, насколько хватало смелости, пешком — ведь тут могли сделать остановку полицейские, — а потом быстро проезжал дальше, ни с кем не заговаривая, а только бросая встречным «Buenos días», и на лесной тропинке снова разыскивал след подков лейтенантской лошади. В голове у него было пусто — ни одной ясной мысли, хотелось лишь как можно дальше уйти от той деревни, где он ночевал. Спасенные из портфеля бумаги он по-прежнему сжимал в кулаке. Кто-то привязал ему к седлу гроздь бананов штук в пятьдесят, и еще у него было мачете и мешочек с запасом свечей; время от времени он съедал по одному банану — спелому, сочному, с коричневой шкуркой и отдающему на вкус мылом. На верхней губе от банана оставался след, похожий на усы.

Через шесть часов он добрался до Ла Канделарии — деревушки, стоявшей на берегу одного из

притоков реки Грихальвы: длинный ряд убогих домишек, крытых жостью. Он осторожно выехал на пыльную улицу — было уже за полдень. Стервятники сидели на крышах, спрятав от солнца свои маленькие головки; в узких полосах тени от домишек лежали в гамаках несколько человек. Устав после трудного перехода, мул ступал медленно. Священник сидел в седле, склонившись на луку.

Мул по собственной воле остановился у одного из гамаков; в нем, опустив одну ногу на землю, лежал наискось человек и раскачивал гамак взад-вперед, взад-вперед, создавая легкое движение воздуха. Священник сказал:

— Buenas tardes.

Человек открыл глаза и посмотрел на него.

— До Кармен далеко отсюда?

— Три лиги.

— А тут можно достать лодку — переправиться через реку?

— Да.

— Где?

Человек лениво махнул рукой, как бы говоря: где угодно, но не здесь. Во рту у него было только два зуба — два желтых клыка, торчавших по углам губ, точно у давно вымершего животного, из тех, что находят в глубинах земли.

— Что здесь понадобилось полицейским? — спросил священник, и тут мухи тучей облепили шею мула. Священник согнал их палкой, они тяжело поднялись, оставив после себя топкие струйки крови, и снова облепили грубую серую шкуру. Мул, казалось, ничего не чувствовал и, повесив голову, стоял на солнцепеке.

— Ищут кого-то, — сказал человек.

— Я слышал, — сказал священник, — будто за... поимку гринго обещано вознаграждение.

Человек покачивался в гамаке. Он сказал:

— Лучше быть живым и бедным, чем богатым, но мертвым.

— Догоню я их, если пойду на Кармен?

— Они не в Кармен пошли.

— Разве?

— Они идут в город.

Священник двинулся дальше; проехав ярдов двадцать, он остановил мула у ларька с минеральной водой и спросил продавца:

— Можно здесь достать лодку? Мне надо на тот берег.

— Лодки нет.

— Нет лодки?

— Ее украли.

— Налей мне сидрала. — Он выпил желтоватую, пузыристую жидкость с химическим привкусом; от нее еще больше захотелось пить. Он сказал: — Как же мне переправиться?

— Зачем это тебе?



— Я еду в Кармен. А как переправились полицейские?

— Вплавь.

— Mula, mula, — сказал священник, понукая мула, и поехал мимо неизбежных в каждой деревне подмостков для оркестра и мимо безвкусной статуи женщины в тоге и с венком, воздетым над головой; кусок пьедестала был выломан и валялся посреди дороги. Мул обошел его. Священник оглянулся: в дальнем конце улицы метис, выпрямившись, сидел в гамаке и смотрел ему вслед. Мул вышел на тропу, круто спускавшуюся к речному берегу, и священник снова оглянулся — метис все еще сидел в гамаке, но теперь у него были спущены на землю обе ноги. Поддавшись привычному беспокойству, священник ударил мула. — Mula, mula. — Но мул медленно спускался по откосу, не обращая внимания на удары.

На берегу он заартачился, не желая входить в воду. Священник расщепил зубами конец палки и ткнул его в бок острием. Он неохотно зашлепал копытами, и вода стала подниматься — к стременам, потом к коленям. Мул растопырился, как аллигатор, и поплыл, оставив над водой только глаза и ноздри. Священника окликнули с берега.

Он оглянулся; метис стоял у кромки воды и что-то кричал ему — не очень громко. Слова не доносились на середину реки. У метиса словно была какая-то тайна, которую он мог поведать только священнику. Он махал рукой, зовя его назад, но мул выбрался из воды на береговой откос, и священник не стал останавливаться — беспокойство уже засело у него в мозгу. Не оглядываясь, он погнал мула в зеленый полумрак банановых зарослей. Все эти годы у него было только два места, куда он всегда мог вернуться и где всегда мог найти надежное пристанище — это был Концепсьон, его бывший приход, но теперь пути туда ему нет, и Кармен, где он родился и где похоронены его отец и мать. Было и третье место, но туда он больше не пойдет... Он повернул мула в сторону Кармен, и лесная чаща снова поглотила их. Если они будут идти таким ходом, то доберутся до места затемно, а это как раз то, что ему нужно. Мул, не подгоняемый палкой, шел еле-еле, повесив голову, от него чуть пахло кровью. Склонившись на высокую луку, священник заснул. Ему снилась маленькая девочка в накрахмаленном белом платье, отвечающая катехизис, где-то позади нее стоял епископ в окружении «Детей Девы Марии» — пожилых женщин с суровыми, серыми, исполненными благочестия лицами и голубыми ленточками на блузах. Епископ сказал: «Прекрасно, прекрасно!» — и захлопал в ладоши — хлоп, хлоп. Человек в сюртуке сказал: «Нам не хватает пятисот песо на новый орган. Мы решили устроить музыкальный вечер в надежде, что...» — и священник вдруг с ужасающей ясностью осознал, что ему нельзя быть тут... это не его приход... ему нужно проводить неделю молитвенного уединения в Концепсьоне. За спиной девочки в белом кисейном платье возник Монтес, он взмахнул рукой, напоминая ему...

С Монтесом случилась какая-то беда, на лбу у него была запекшаяся рана. Священник ужаснулся, поняв, что девочке грозит опасность. Он сказал: «Милая, милая» — и проснулся, покачиваясь в седле под медленную поступь мула и слыша позади чьи-то шаги.

Он оглянулся: это метис ковылял за ним, весь мокрый — наверно, переплыл реку. Два его зуба торчали над нижней губой, и он угодливо улыбался.

— Что тебе нужно? — резко спросил священник.

— Вы не сказали, что едете в Кармен.

— А почему я должен это говорить?

— Да мне тоже туда надо. Вдвоем идти веселее. — На нем были штаны, рубашка и парусиновые туфли. Из носка одной торчал большой палец — толстый и желтый, как нечто, вылезшее из-под земли. Он почесал под мышкой и по-свойски поравнялся со стременем священника. Он сказал: — Вы не

обиделись, сеньор?

— Почему ты называешь меня сеньором?

— Сразу видно, что человек образованный.

— В лес всем дорога открыта, — сказал священник.

— Вы хорошо знаете Кармен? — спросил метис.

— Нет, не очень. У меня там есть знакомые.

— Наверно, по делам туда едете?

Священник промолчал. Он чувствовал у себя на ноге легкое неприятное прикосновение ладони метиса. Тот сказал:

— Лигах в двух отсюда, недалеко от дороги, есть харчевня. Там можно заночевать.

— Я тороплюсь, — сказал священник.

— Да стоит ли приходить в Кармен в час-два утра? Заночуем в этой харчевне и доберемся до места, пока солнце еще низко.

— Я сделаю так, как мне надо.

— Конечно, сеньор, конечно. — Метис помолчал минуту, потом сказал: — Идти ночью опасно, если у сеньора нет оружия. Я — дело другое...

— Я бедный человек, — сказал священник. — Ты сам это видишь. Меня грабить не стоит.

— А потом еще этот гринго — говорят, он свирепый, настоящий pistolero [здесь: убийца (исп.)]. Подойдет к вам и скажет на своем языке: «Стой! Как пройти...» — ну, там куда-нибудь, а вы его не поняли и, может, двинулись с места, и он вас наповал. Но вы, может, знаете по-американски, сеньор?

— Конечно нет. Откуда мне знать американский? Я бедный человек. Но всем этим рассказам я не верю.

— Вы издалека едете?

Священник на минуту задумался.

— Из Консепсьона. — Там он уже никому не повредит. Его ответ как будто удовлетворил метиса. Он шагал бок о бок с мулом, держа руку на стремях, и то и дело сплевывал. Опуская глаза, священник видел его большой палец, похожий на червяка, ползущего по земле. Человек этот, наверно, безвредный. Просто такая уж жизнь — настраивает на подозрения. Спустились сумерки, и почти сразу наступила темнота. Мул шагал еще медленнее. Вокруг все зашумело, зашуршало — как в театре, когда опустят занавес и за кулисами и в коридорах поднимается суетня. Непонятно кто... сразу не определишь — может, ягуары подали голос в кустах? Обезьяны прыгали по верхушкам деревьев, а москиты жужжали, как швейные машинки.

— Когда долго идешь, горло пересыхает, — сказал метис. — У вас случайно не найдется чего-нибудь выпить, сеньор?

— Нет.

— Если вы хотите прийти в Кармен до трех часов, тогда вашего мула надо бить. Дайте мне палку.

— Нет, нет, пусть бедняга идет как хочет. Мне это не важно, — сонным голосом сказал он.

— Вы говорите как священник.

Он сразу очнулся, но под высокими темными деревьями ничего не было видно. Он сказал:

— Ты чепуху несешь.

— Я добрый христианин, — сказал метис, поглаживая его по ноге.

— Ну, еще бы. Кабы я таким был.

— Эх, не различаете вы, кому можно доверять, а надо бы. — Он даже сплюнул от огорчения.

— Что доверять-то? — сказал священник. — Разве только вот эти штаны... но они очень рваные. И этого мула — но он плохой мул, сам видишь.

Они помолчали, а потом, словно обдумав последние слова священника, метис продолжал:

— Мул был бы не так уж плох, если бы вы правильно с ним обращались. Меня насчет мулов учить нечего. Я вижу, что он устал.

Священник взглянул на серую, глупую, покачивающуюся башку своего мула.

— Устал, говоришь?

— Сколько вы вчера проехали?

— Пожалуй, около двенадцати лиг.

— Мулу и то надо передохнуть.

Священник выпростал свои босые ступни из глубоких кожаных стремян и слез с седла. Мул прибавил ходу, но не прошло и минуты, как он пошел еще медленнее. Сучья и корни на лесной тропинке царапали священнику ноги — вскоре они стали кровоточить. Он тщетно старался не прихрамывать. Метис воскликнул:

— Какие ноги у вас нежные! Вам надо ходить в обуви.

Священник упрямо повторил:

— Я бедный человек.

— Так вы никогда не дойдете до Кармен. Возьмитесь за ум, друг. Если не хотите сворачивать с дороги к харчевне, так недалеко отсюда есть маленькая хижина, до нее меньше пол-лиги. Поспим там часок-другой и все равно на рассвете доберемся до Кармен. — В траве рядом с тропинкой что-то зашуршало — не змея ли, а он босой! Руки у него были искусаны — москиты, точно маленькие хирургические шприцы с ядом, метили в кровеносные сосуды. Светляки подносили свои лампочки к самому лицу метиса и то зажигали, то гасили их, точно электрические фонарики. Метис проговорил с укоризной: — Вы мне не доверяете. Вы не доверяете мне потому, что я охотно оказываю услугу незнакомцу и стараюсь поступать по-христиански. — Он, видимо, разжигал в себе ярость. Он сказал: — Если бы я собирался вас ограбить, так давно бы ограбил. Вы человек старый.

— Не так уж я стар, — кротко ответил ему священник. Его сознание начало работать как автомат, куда можно сунуть любую монету, даже поддельную. Слова «гордый», «алчный», «завистливый», «трусливый», «неблагодарный» — все они приводили в действие нужные пружинки, все это находило отклик у него в душе. Метис сказал:

— Я провожаю вас до Кармен, сколько времени на это убил... Награды мне никакой не нужно, потому что я добрый христианин. Я, может, из-за вас прозевал верные деньги дома... да уж ладно.

— По-моему, ты говорил, что идешь в Кармен по делу, — незлобиво сказал священник.

— Когда я это говорил? — Действительно, может, метис ничего такого не сказал — ведь всего не запомнишь... Может, он несправедлив к нему? — Зачем мне говорить неправду? Да я убью на вас

целый день, а вам все равно, устал ваш проводник или нет.

— Проводник мне не нужен, — мягко возразил священник.

— Не нужен, когда дорога прямая, а кабы не я, вы бы давно свернули в другую сторону. Сами говорили, что плохо знаете Кармен. Потому я и пошел с вами.

— Коли ты устал, давай отдохнем, — сказал священник. Ему было стыдно, что он не доверяет этому человеку, но недоверие все равно оставалось, как опухоль, от которой его мог освободить только нож.

Через полчаса они вышли на маленькую полянку; там стояла хижина из веток, скрепленных глиной; ее поставил, верно, какой-нибудь мелкий фермер, уходя все дальше и дальше от леса, наступавшего на него с непобедимой силой, от которой не спасали ни костры, ни мачете. На почерневшей земле все еще виднелись следы попыток вырубить кустарник, освободить участок для жалких, скудных посевов, не приносящих урожая. Метис сказал:

— Я присмотрю за мулом. А вы ложитесь и отдыхайте.

— Но ведь это ты устал.

— Я устал? Что это вы говорите? Я никогда не устаю.

Чувствуя тяжесть на душе, священник снял с седла вьюк, толкнул дверь и вошел в хижину — в полную темноту. Он чиркнул спичкой — хижина была совсем пустая, если не считать земляной лежанки с рваной соломенной циновкой, брошенной здесь за негодностью. Он зажег свечу и, капнув воском на лежанку, прилепил ее там; потом сел и стал ждать, что будет дальше. Метис долго не приходил. В кулаке у священника был все еще зажат комок бумаги, спасенной из портфеля: не может человек жить без таких вот сентиментальных памяток о прошлом. Соображениями безопасности руководствуются только те, кто живет в покое. Он подумал, не увел ли метис его мула, и упрекнул себя за ненужную подозрительность. Потом дверь отворилась, и метис вошел в хижину — вот он, два желтых клыкастых зуба и ногти, корябающие под мышкой. Он сел на земляной пол, привалившись спиной к двери, и сказал:

— Ложитесь спать. Вы же устали. Я разбужу, когда будет нужно.

— Мне спать не хочется.

— Задуйте свечу. Так скорее уснете.

— Я не люблю темноты, — сказал священник. Ему стало страшно.

— А вы не читаете молитву, отец, на сон грядущий?

— Почему ты меня так называешь? — резко спросил он, вглядываясь в стелющуюся по полу тьму — туда, где, прислонившись к двери, сидел метис.

— Да я же догадался. Но вы меня не бойтесь. Я добрый христианин.

— Ты ошибаешься.

— Да ведь это легко проверить, правда? — сказал метис. — Стоит только попросить — исповедуйте меня, отец. Неужели вы откажете человеку, совершившему смертный грех?

Священник промолчал, ожидая этой просьбы; рука с комком бумаги задрожала.

— Да не бойтесь вы меня, — вкрадчиво продолжал свое метис. — Я вас не выдам. Я христианин. Просто подумал, хорошо бы... услышать молитву.

— Молитвы знают не только священники. — Он начал: — «Pater noster qui es in coelis — А москиты гудели, налетая на огонек свечи. Он решил не спать — этот человек что-то задумал; совесть

перестала укорять его в недостатке милосердия. Он знал: рядом с ним Иуда.

Он откинул голову к стене и полузакрыв глаза — ему вспомнилось прежнее: Страстная неделя, когда чучело Иуды вешали на колокольне, а мальчишки били в жестянки и трещали в трещотки. Почтенные старые прихожане иногда ворчали: это святотатство, говорили они, делать чучело из предателя Господа нашего; но он молчал, не препятствуя этому обычаю, — хорошо, что первый предатель мира становится посмешищем. Не то слишком легко поднять его до уровня героя, который бросил вызов Богу, сделать из него чуть ли не Прометея, благородную жертву неравной битвы.

— Вы не спите? — донесся до священника шепот от двери. Он вдруг тихонько засмеялся, точно у этого метиса был такой же нелепый вид — ноги набиты соломой, лицо размалевано, на голову напялена старая соломенная шляпа, и скоро его сожгут на площади, а люди тем временем будут произносить политические речи, и в небе заиграет фейерверк.

— Не спится?

— Мне что-то приснилось, — прошептал священник. Он открыл глаза и увидел, что метис дрожит мелкой дрожью, сидя у двери, и его два острых клыка дергаются на нижней губе. — Ты болен?

— Лихорадит немного, — сказал тот. — Лекарства у вас нет?

— Нет.

Дверь поскрипывала под трясущейся спиной. Метис сказал:

— Промок в реке... — И сполз ниже на пол, и закрыл глаза, а москиты с обожженными крылышками копошились на земляной лежанке. Священник подумал: нельзя спать, это опасно, надо следить за ним. Он разжал кулак и пригладил бумагу. На ней виднелись полустертые карандашные записи — отдельные слова, начала и концы фраз, цифры. Теперь, когда портфеля у него уже нет, это единственное свидетельство того, что в прошлые годы жизнь была совсем иная. Он носил бумагу с собой как амулет — ведь если так было раньше, может, все еще вернется? Огонек свечи вздрагивал и чадил в душном, болотистом воздухе низины. Священник поднес бумагу к огню и прочел слова: «Общество алтаря», «Общество святого причастия», «Дети Девы Марии», снова посмотрел в темноту хижины и увидел малярийные, с желтизной глаза метиса, которые следили за ним. Иуда не заснул бы в Гефсиманском саду; Иуда мог бодрствовать больше часа<sup>7</sup>.

— Что это за бумага... отец? — угодливо спросил метис, весь дрожа.

— Не называй меня отцом. Тут записаны семена, которые мне надо купить в Кармен.

— Вы умеете писать?

— Нет, только читаю.

Он снова посмотрел на бумагу, и оттуда на него глянула бледная карандашная запись его шутки — безобидной, хоть и несколько вольной... что-то про тучную еду и сладкое питье<sup>8</sup>. Это он прошелся насчет своей полноты и сытного обеда, который он только что съел. Прихожанам такой юмор пришелся не по вкусу.

Этот обед был дан в Консепсьоне в честь десятилетней годовщины его рукоположения. Он занимал самое почетное место за столом рядом с... кто же сидел справа от него? Обед состоял из двенадцати блюд; он еще сказал что-то про двенадцать апостолов, и это тоже несколько шокировало. Он был еще молод, ему хотелось поозоровать в обществе всех этих набожных, пожилых, почтенных

<sup>7</sup> ср. Евангелие от Марка, 14, 37: «Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час!»

<sup>8</sup> ср. Кн. Неемии, 8, 10: «...пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое...»

жителей Концепсьона, нацепивших на себя ленты и значки своих обществ. И выпил он чуть больше, чем следовало; в те дни у него еще не было тяги к алкоголю. И вдруг ему вспомнилось, кто сидел справа — Монтес, отец того, расстрелянного.

Монтес произнес длинную речь. Он докладывал собравшимся об успехах «Общества алтаря» за последний год — активный баланс двадцать два песо. Священник записал себе эту цифру с тем, чтобы отметить ее в своем выступлении. Вот она: «О.а. — 22 песо». Монтес ратовал за открытие отделения «Общества св.Винсента де Поля», а какая-то женщина пожаловалась, что в Концепсьоне продают дурные книги, которые привозят на мулах из столицы штата. Ее дочь где-то раздобыла роман под названием «Муж на одну ночь». Священник заявил в своей речи, что губернатор будет извещен об этом.

И тут местный фотограф дал вспышку, и он так и запомнил себя в эту минуту, точно посторонний, который заглянул на шум в окно и увидел веселую компанию, что-то празднующую, и с завистью, а может, и не без улыбки посмотрел на упитанного молодого священника: вот он стоит, властно простерев свою пухлую руку, и со вкусом произносит слово «губернатор». Соседи по столу сидят, по-рыбьи разинув рты, а на лицах, высвеченных магнием, ни одной морщинки, ни одной индивидуальной черты.

Ответственность момента требовала соблюдения серьезности, и он оставил свой легкомысленный тон, к большой радости прихожан. Он сказал: «Активный баланс в двадцать два песо на счету „Общества алтаря“ — случай разительный для Концепсьона, но это не единственный повод для поздравлений, заслуженных вами за прошлый год. Число членов общества „Дети Девы Марии“ выросло на девять человек, а „Общество святого причастия“ минувшей осенью превосходно провело ежегодную неделю молитвенного уединения. Однако не будем почивать на лаврах. Признаюсь, что у меня есть планы, которые, может быть, несколько удивят вас. Насколько мне известно, я считаюсь здесь человеком, исполненным редкостного честолюбия. Так вот, я хочу, чтобы в Концепсьоне была хорошая школа, действительно хорошая, а следовательно, и хороший дом для священника. Приход у нас большой, и священнику надо поддерживать свой престиж. Я пекусь не о себе, а о Церкви. И мы не остановимся на этом, хотя, чтобы собрать достаточную сумму денег, даже в Концепсьоне потребуется не один год. — Он говорил и видел перед собой эти годы безмятежной жизни. Да, честолюбия у него было хоть отбавляй, и почему бы ему со временем не получить места в столице штата при кафедральном соборе, а задолженность в Концепсьоне пусть выплачивает его преемник. Энергичный священник всегда узнается по долгам. — Разумеется, в Мексике много такого, что грозит нашей возлюбленной Церкви. Но тех, кто живет в нашем штате, счастье еще не оставило — на севере люди поплатились жизнью, и нам тоже надо быть готовыми... — Он освежил пересохший рот вином. — К худшему. Бодрствуйте и молитесь. — несколько неопределенно продолжал он. — Бодрствуйте и молитесь. Сатана, яко лев рыкающий...» «Дети Девы Марии» в темных праздничных блузах с голубыми лентами через плечо уставились на него, слегка приоткрыв рты. Он говорил долго, наслаждаясь звуком своего голоса; Монтеса пришлось несколько обескуражить по поводу «Общества св.Винсента де Поля», потому что мирян всегда надо сдерживать, и еще он рассказал прелестную историю о смертном часе одной девочки — она умирала от туберкулеза в возрасте одиннадцати лет, не поколебавшись в своей вере. Девочка спросила, кто стоит в ногах ее кровати, и ей сказали: «Это отец такой-то», а она говорит: «Нет, нет. Отца такого-то я знаю. А вон тот, в золотом венце?» Одна женщина из «Общества святого причастия» расплакалась. Все остались очень довольны его рассказом. История эта к тому же была не вымышленная, хотя он не мог вспомнить, от кого ее слышал. Может, прочитал где-нибудь. Кто-то наполнил его бокал. Он перевел дыхание и продолжал: «Дети мои...»

...И когда метис засопел и завозился у двери, он открыл глаза, и прежняя жизнь отвалилась от него, как ярлычок. В рваных крестьянских штанах он лежит в темной, душной хижине, а за его голову назначено вознаграждение. Весь мир изменился — Церкви нет нигде, ни одного собрата-священника.

кроме всеми отверженного падре Хосе в столице. Он лежал, прислушиваясь к тяжелому дыханию метиса, и думал: почему я не пошел путем падре Хосе, почему не подчинился закону? Всему виной мое честолюбие, думал он, вот в чем все дело. Падре Хосе, наверно, лучше его — он такой смиренный, что готов стерпеть любую насмешку; он и в те, в добрые времена всегда считал себя недостойным своего сана. Однажды в столицу съехались на совет приходские священники — это было еще при старом губернаторе, — и, насколько он помнил, падре Хосе только в конце каждого заседания, крадучись, входил в зал, забивался в последний ряд, чтобы никому не попадаться на глаза, и сидел, словно воды в рот набрав. И дело тут было не в какой-то сознательной скромности, как у других, более образованных священников, — нет, он и в самом деле ощущал присутствие Бога. Когда падре Хосе возносил святые дары, у него дрожали руки. Да, он не апостол Фома, которому понадобилось вложить персты в раны Христовы, чтобы поверить. Для падре Хосе из них каждый раз лилась кровь над алтарем. Как-то в минуту откровенности он признался: «Каждый раз... мне так страшно». Его отец был крестьянин.

А вот я — я честолюбец. И образования у меня не больше, чем у падре Хосе, но мой отец держал лавку, и я знал цену активному балансу в двадцать два песо, знал, как выдают ссуды под закладные. И я вовсе не собирался оставаться всю жизнь священником в небольшом приходе... Его честолюбивые замыслы показались ему сейчас чуть-чуть комичными, и он удивленно хмыкнул. Метис открыл глаза и спросил:

— Так и не уснули?

— Спи сам, — сказал он, вытирая рукавом капельки пота с лица.

— Меня знобит.

— Это лихорадка. Хочешь, я дам тебе свою рубашку? Она рваная, но все-таки в ней будет теплее.

— Нет, нет. Мне ничего вашего не надо. Вы мне не доверяете.

Да, если б он был таким же смиренным, как падре Хосе, то жил бы сейчас с Марией в столице, получал бы пенсию, а валяется здесь и предлагает свою рубашку человеку, который хочет предать его, — это гордыня, сатанинская гордыня. Даже в попытках побега ему не хватало решительности, а все его гордыня — грех, из-за которого пали ангелы. Когда он остался единственным священником в штате, как выиграла его гордыня! Какой он был храбрец, служащий Господу своему с риском для жизни! Когда-нибудь ему воздадут по заслугам... Он стал молиться в полутьме хижины:

— Господи, прости мне мою гордыню, похоть, алчность. Я слишком любил власть. Люди, защищающие меня ценой жизни, — вот кто мученики. И служить им должен мученик, а не безумец, который любит не то, что должно любить. Может, мне лучше бежать... если я поведаю людям, как здесь тяжко, может, сюда пришлют хорошего священника с пламенем любви в сердце?.. — И как всегда, его покаяние закончилось практическим вопросом: что же теперь делать?

У двери беспокойным сном спал метис.

Как скудно питалась его гордыня — за весь год он отслужил только четыре мессы и принял не больше ста исповедей. То же самое мог бы сделать любой семинарский тупица, и сделал бы лучше. Он осторожно встал с лежанки и, ступая на цыпочках, пошел к двери. Надо бы добраться до Кармен и сразу же уйти оттуда, пока этот человек... Открытый рот обнажал бледные беззубые десны; он стонал и ворочался во сне, потом сполз на пол и затих.

В нем чувствовалась полная отрешенность, будто он отказался от борьбы и лежал на земляном полу, сраженный какой-то неведомой силой. Надо было лишь перешагнуть через его ноги и толкнуть дверь — она открывалась наружу.

Он занес ногу над телом метиса, как вдруг рука схватила его за щиколотку.

— Куда вы?

— Мне надо оправиться, — сказал священник.

Рука все еще держала его.

— Здесь и оправляйтесь, — простонал метис. — Почему не здесь, отец? Ведь вы отец?

— У меня есть дочь, — сказал священник. — Если ты об этом.

— Вы знаете, о чем я говорю. Ведь вам все известно про Бога. — Горячая рука по-прежнему цеплялась за его щиколотку. — Может, он у вас тут — в кармане. Ведь вы с собой его носите, а вдруг попадетесь больной... Так вот, я заболел. Сподобьте меня. Или вы думаете, я недостойн... если Богу все известно?

— Ты бредишь.

Но метис не умолкал. Священнику вспомнилось, как разведчики обнаружили нефть неподалеку от Консепсьона. Скважина оказалась, видимо, недостаточно рентабельной для дальнейшего бурения, но черный нефтяной фонтан двое суток впустую бил в небо из заболоченной, бедной почвы по пятьдесят галлонов в час... Как вспышка религиозного чувства, вдруг взметнувшаяся в человеке черным столбом газов и грязи и пропавшая впустую.

— Признаться вам в моих грехах? Вы должны выслушать. Я брал деньги у женщин, сами знаете за что, и я платил мальчикам...

— Я не хочу тебя слушать.

— Это ваш долг.

— Ты ошибаешься.

— Э-э, нет, не ошибаюсь. Меня не проведешь. Слушайте: я давал деньги мальчикам — понимаете за что? И ел мясное по пятницам. — Отвратительная смесь грубого, пошлого, чудовищного была из этой пасти с двумя желтыми клыками, а рука, державшая его за щиколотку, все тряслась и тряслась в лихорадочном ознобе. — Я лгал, я не помню, сколько лет не соблюдаю великого поста. Раз я спал с двумя женщинами. Я все про себя расскажу... — Сомнение так и лезло из него: он не представлял себе, что является всего лишь частицей мира предательства, насилия, похоти — мира, в котором весь его срам ничего не значил. Сколько раз приходилось священнику выслушивать такие признания! Человек так ограничен: он даже не способен изобрести новый грех — все это есть и у животных. И за этот мир умер Христос! Чем больше видишь вокруг себя зла, чем больше слышишь о нем, тем большей славой сияет эта смерть. Легко отдать жизнь за доброе, за прекрасное — за родной дом, за детей, за цивилизацию, но нужно быть Богом, чтобы умереть за равнодушных, за безнравственных. Он сказал:

— Зачем ты говоришь мне все это?

Метис лежал обессиленный и молчал: он начал потеть, его рука ослабила свою хватку. Священник толкнул дверь и вышел из хижины — вокруг была полная темнота. Как найти мула? Он стоял, прислушиваясь; где-то неподалеку раздался вой. Ему стало страшно. В хижине горела свеча; оттуда неслись странные, булькающие звуки — метис плакал. И священнику снова вспомнился нефтяной фонтан, вспомнились маленькие черные лужицы и как на них с медленным бульканьем появлялись и лопались и снова возникали пузырьки.

Он зажег спичку, пошел напрямик — шаг, другой, третий — и наткнулся на дерево. В этой крошечной тьме толку от спички было не больше, чем от светлячка. Он шепнул: «Mula, mula», боясь,



что метис услышит, если говорить громко, да и вряд ли глупое животное отзовется. Он ненавидел его — ненавидел эту качающуюся, как у китайского болванчика, башку, этот жадно жующий рот, запах крови и помета. Он зажег вторую спичку и снова пошел и через несколько шагов снова наткнулся на дерево. В хижине все еще слышался булькающий плач. Ему надо попасть в Кармен и уйти оттуда, пока этот человек не свяжется с полицией. Он снова стал мерить шагами полянку — раз, два, три, четыре — и опять дерево. Под ногой у него что-то шевельнулось — не скорпион ли? Шаг, второй, третий — и вдруг где-то в темноте раздался рев мула; должно быть, проголодался или учуял какого-нибудь зверя.

Мул стоял на привязи в нескольких ярдах от хижины — огонек свечи теперь скрылся из глаз. Спички были на исходе, но после двух очередных попыток он все-таки нашел мула. Метис снял с него всю сбрую, а седло спрятал. Тратить время на поиски было нельзя. Он взобрался на мула и только тут понял, что эту скотину никакой силой не сдвинешь с места, когда и веревки вокруг шеи на нем нет. Он стал выкручивать ему уши, но они были не более чувствительны, чем дверные ручки. Мул стоял как вкопанный, наподобие конной статуи. Он зажег спичку и ткнул ею мула в бок. Мул вдруг ударил задом, и он выронил спичку; мул снова замер, хмуро опустив голову; его огромные допотопные ноги словно окаменели. Священник услышал укоризненный голос:

— Вы бросаете меня здесь — на верную смерть?

— Вздор, — сказал он. — Я тороплюсь. К утру тебе полегчает, а мне ждать больше нельзя.

В темноте послышался шорох, и рука схватила его за босую ногу.

— Не бросайте меня. — заныл голос. — Молю вас... как христианин.

— Ничего с тобой не случится.

— Откуда вы знаете? А гринго — он ведь шатается в этих местах.

— Про гринго я ничего не слышал. И тех, кто его видел, тоже не встречал. И вообще, он же только человек — такой же, как мы все.

— Не оставляйте меня одного. Я боюсь...

— Хорошо, — устало проговорил священник. — Найди седло.

Оседлав мула, они снова двинулись в путь; метис шел, держась за стремя. Оба молчали — метис то и дело спотыкался; близился серый рассвет. Где-то в душе у священника тлел уголек жестокого удовлетворения: вот он, Иуда, больной, еле идет и боится темноты. Пусть остается один в лесу, надо только подстегнуть мула, и все. Он ткнул его в бок острием палки, и мул затрусил усталой рысцой, а рука метиса задергала за стремя — дерг-дерг, — стараясь остановить его. Послышался глухой стон, что-то вроде «Матерь божия», и священник придержал мула.

— Господи, прости меня, — молился он. Ведь Христос умер и за этого человека. Вправе ли он, со своей гордыней, похотью и трусостью, считать себя более достойным этой смерти, чем вот такой метис? Метис собирается предать его ради обещанных денег, деньги нужны ему, а сам он предал Господа ради похоти и то не такой уж сильной. Он спросил: — Тебе плохо? — но не услышал ответа. Он слез и сказал: — Садись. А я пойду пешком.

— Мне хорошо, — с ненавистью сказал метис.

— Садись, садись.

— Думаете, вы такой уж благодетель? — сказал метис. — Помогаете своим врагам? Как истинный христианин?

— Разве ты враг мне?

— Это вы так считаете. Думаете, я гонюсь за наградой? Обещано семьсот песо. По-вашему, такой бедняк, как я, не устоит — донесет полиции?

— Ты бредишь.

Метис сказал угодливым голосом предателя:

— Ну ясно, вы правы.

— Садись, садись. — Метис чуть не упал. Священнику пришлось подсадить его на мула. Он стал бессильно заваливаться на бок, так что рот его пришелся вровень со ртом священника, и ему дохнуло в лицо мерзостью. Метис сказал:

— Бедняку выбирать не приходится, отец. Будь у меня деньги... и не такие уж большие, я бы стал добрым.

Священнику вдруг вспомнилось — неизвестно почему, — как «Дети Девы Марии» уписывали пирожные. Он усмехнулся:

— Вряд ли. Если доброта зависит только от...

— Что вы сказали? Вы не доверяете мне, отец, — бессвязно твердил метис, покачиваясь в седле. — Не доверяете, потому что я бедный, потому что не доверяете... — И повалился на седельную луку, тяжело дыша и дрожа всем телом. Священник поддерживал его одной рукой, и они медленно шли по пути к Кармен. Дело плохо: теперь ему нельзя побыть там, даже показаться в селении невозможно, потому что если об этом узнают, то возьмут заложника, и человек погибнет. Где-то далеко запел петух; туман, поднимавшийся с болотистой земли, теперь был ему по колено. В котором часу петухи начинают петь? Вот что еще странно в нынешней жизни: в домах не стало часов — за целый год не услышишь их боя. Часы исчезли вместе с церквями, и время теперь отсчитывается медленными серыми рассветами и торопливыми ночами.

Фигура метиса, склонившегося на луку, постепенно вырисовывалась в сумерках; стали видны его желтые клыки, торчащие из разинутого рта. Право, этот человек заслужил награду, подумал священник. Семьсот песо не такая уж большая сумма, но ему, пожалуй, хватит, проживет на нее целый год в той пыльной, заброшенной деревушке. Он снова тихо рассмеялся: ему всегда было трудно принимать всерьез превратности судьбы. И ведь, может быть, год спокойной жизни спасет душу этого человека. Любое жизненное положение надо только вывернуть наизнанку, и оттуда посыплется вся мелочь нелепых, противоречивых обстоятельств. Вот он поддался отчаянию, а из его отчаяния родилась человеческая душа и любовь — не лучшая, что и говорить, но все же любовь. Метис вдруг сказал:

— Это судьба. Мне гадалка как-то нагадала... награду.

Священник крепко держал метиса в седле и шагал рядом; ноги у него кровоточили, но скоро они задубеют. Странная тишина спустилась на лес и вместе с туманом поднялась от земли. Ночью было столько всяких звуков, а сейчас все затихло. Точно во время перемирия, когда пушки враждующих сторон умолкают и будто вся земля прислушивается к тому, чего раньше никто не слышал, — к миру.

Метис сказал:

— Ведь вы священник?

— Да. — Они словно вылезли каждый из своего окопа и сошлись брататься между колючей проволокой на ничьей земле. Он вспомнил рассказы о европейской войне — как на исходе ее солдаты, подавшись порыву, бежали друг другу навстречу. «Неужто ты немец?» — спрашивали они, с изумлением глядя в такое же человеческое лицо. Или: «А ты англичанин?»

— Да, — повторил священник, а мул все так же медленно тащился по тропе. В прежние времена, когда он обучал детей, какой-нибудь смуглый мальчик-индеец с длинным разрезом глаз, бывало, спрашивал его: «А какой он, Бог?» — и он отвечал — бездумно, сравнивая Бога с отцом и матерью, а иной раз, расширяя свой ответ, включал туда же братьев и сестер, чтобы вопрошающий представил себе все роды любви, все человеческие отношения, сомкнувшиеся в огромном, хоть и глубоко личном чувстве. Но в самой сердцевине его собственной веры было убеждение в тайне — в том, что все мы созданы по образу и подобию Божьему:

Бог — это и отец, но он же и полицейский, и преступник, и священник, и безумец, и судья. Нечто, подобное Богу, покачивалось на виселице, и корчилось под выстрелами на тюремном дворе, и горбилось, как верблюд, в любовных объятиях. Он сидел в исповедальне и выслушивал отчет о замысловатых, грязных ухищрениях, которые изобрело подобие Божье. И вот сейчас этот образ Божий трясся на спине мула, прикусив желтыми зубами нижнюю губу, и образ Божий совершил свое отчаянное деяние с Марией в хижине, где было полно крыс. Солдат на войне, наверно, утешает себя тем, что враждующая сторона творит не меньше зверств: человек не одинок в своем грехе. Он сказал:

— Ну, как тебе — лучше? Не знобит, а? В жар не бросает? — и заставил себя почти с нежностью погладить плечо подобию Божьему.

Метис молчал, покачиваясь с боку на бок на хребтине мула.

— Осталось каких-нибудь две лиги, — подбадривая его, сказал священник. Надо бы решать, что ему делать. Он помнил Кармен лучше любого другого селения, лучше любого города в штате: пологий, заросший травой косогор ведет от реки к маленькому кладбищу на холме — там похоронены его родители. Кладбищенская стена завалилась; два-три креста поломаны ревнителями новой политики; каменный ангел стоит без одного крыла, а надгробия, оставшиеся нетронутыми, покосились под острым углом в высокую болотную траву. У изображения матери Божией над могилой какого-то богатого, всеми забытого лесопромышленника нет ни ушей, ни рук, точно у языческой Венеры. Непонятно! И откуда в человеке эта страсть к разрушению — ведь до конца всего никогда не разрушишь. Если бы Господь был похож на жабу, можно бы перевести всех жаб на земле, но когда он подобен тебе, мало уничтожить каменные статуи — надо убить самого себя среди вот этих могил.

Он сказал:

— Ну как ты, окреп? Удержишься в седле? — и отнял руку. Тропинка раздвоилась: в одну сторону она вела в Кармен, в другую — на запад. Он ударил мула по задку, направляя его в сторону Кармен, сказал: — Через два часа будешь там, — и остановился, глядя, как мул идет на его родину, неся на себе доносчика, припавшего к луке. Метис попытался выпрямиться.

— Куда вы?

— Будь свидетелем, — сказал священник. — Я не заходил в Кармен. Но если ты помянешь там про меня, тебе дадут поесть.

— Да как же?.. Подождите! — Метис стал заворачивать голову мула, но сил на это у него не хватало. Мул шел и шел вперед. Священник крикнул:

— Помни. Я не заходил в Кармен. — Но куда ему теперь идти? И он понял, что во всем штате есть только одно место, где не возьмут заложником ни в чем не повинного человека. Но в такой одежде там нельзя показываться. Метис цеплялся за седельную луку, умоляюще вращая малярными глазами:

— Не бросайте меня! — Но не только метиса бросал он здесь, на лесной тропе: мул стоял на ней поперек и мотал своей глупой башкой, отгораживая его, точно барьером, от родных мест. Он был как человек без паспорта, которого гонят из всех гаваней.

Метис кричал ему вслед:

— А еще христианин! — Он все-таки ухитрился выпрямиться в седле и сыпал бранью — бессмысленным набором грязных слов, которые замирали в лесу, точно слабые удары молотка. Он прохрипел: — Если мы когда-нибудь встретимся, пеняй на себя... — У этого человека, конечно, были все основания прийти в ярость: он лишился семисот песо. Метис крикнул отчаянным голосом: — У меня память на лица!

## 2

В жаркий, насыщенный электричеством вечер по площади кружили молодые мужчины и девушки; мужчины — в одну сторону, девушки — в другую. Они не заговаривали друг с другом. В северной части неба сверкала молния. Это гулянье чем-то напоминало религиозный обряд, который давно потерял всякий смысл, но тем не менее ради него все наряжались. Иногда к молодежи примыкали женщины постарше, внося в это шествие чуть больше оживления и смеха, точно у них еще сохранилось воспоминание о прежней жизни, о которой теперь и в книгах не прочтешь. Со ступеней казначейства за гуляющими наблюдал полицейский с кобурой на бедре, а у дверей тюрьмы, держа винтовку между колен, сидел маленький, щуплый солдат, и тени пальм тянулись к нему, точно заграждение из сабель. В окне у зубного врача горело электричество, освещая зубоврачебное кресло, ярко-красные плюшевые подушки, стакан для полоскания на низеньком столике и детский шкафчик, набитый инструментами. В жилых домах, за проволочной решеткой окон, среди семейных фотографий, взад и вперед покачивались в качалках старухи. Делать им было нечего, говорить не о чем — сидели и покрывались потом под ворохом своих одеяний. Так шла жизнь в главном городе штата.

Человек в поношенной бумажной одежде сидел на скамейке и смотрел на все это. К казармам прошел вооруженный отряд полиции: полицейские шагали не в ногу, держа винтовки кое-как. Площадь освещалась электрическими лампочками — по три на каждом углу; их соединяли между собой безобразно обвисшие провода. От скамьи к скамье ходил нищий, безуспешно кланча милостыню.

Нищий сел рядом с человеком в поношенной одежде и повел какое-то длинное объяснение. Тон у него был вкрадчивый, и в то же время в нем слышалась угроза. Улицы спускались с площади к реке, к порту, к заболоченной равнине. Нищий говорил, что у него жена и куча детей и что последние недели они голодают. Он замолчал и потрогал своего соседа за рукав.

— Сколько же, — спросил он, — такой материал стоит?

— Не поверишь, как дешево, просто гроши.

Часы пробили половину десятого, и лампочки сразу погасли. Нищий сказал:

— Так совсем ум за разум зайдет. — Он повертел головой, провожая взглядом гуляющих, которые уходили вниз по склону. Человек в поношенной одежде поднялся со скамьи, нищий тоже встал и поплелся следом за ним в дальний конец площади. Его босые ноги шлепали по асфальту. Он сказал: — Несколько песо... Что тебе стоит, не разоришься.

— Еще как разорюсь!

Нищий озлился. Он сказал:

— Иной раз готов на что угодно пойти ради нескольких песо. — Теперь, когда огни во всем городе погасли, они стояли, скрытые дружелюбной темнотой. Нищий сказал: — Осуждаешь меня?

— Да нет. И не думаю.

Что бы он ни сказал, все выводило нищего из себя.

— Иной раз, кажется, убить готов...

— Вот это, конечно, очень нехорошо.

— Значит, нехорошо, если я схвачу кого-нибудь за горло?

— Что ж, голодный на все имеет право ради спасения своей жизни.

Нищий смотрел на этого человека с яростью, а тот продолжал говорить, словно обсуждая какой-то отвлеченный вопрос:

— Из-за меня, пожалуй, не стоит идти на такой риск. Пятнадцать песо семьдесят пять сентаво — вот все мое богатство. Я сам двое суток ничего не ел.

— Матерь Божия! — сказал нищий. — Да ты что, каменный? Сердце у тебя есть?

Человек в поношенной одежде вдруг хихикнул. Нищий сказал:

— Вранье. Почему же ты ничего не ел, когда у тебя пятнадцать песо в кармане?

— Видишь ли, в чем дело, я хочу купить чего-нибудь выпить.

— А именно?

— Того самого, чего в этом городе чужому не найти.

— Значит, тебе нужно спиртное?

— Да... и вино.

Нищий подошел к нему вплотную, нога к ноге, тронул за руку. Они, как близкие друзья, как братья, стояли вдвоем в темноте. Теперь даже в домах гасили огни, и таксисты, весь день тщетно поджидавшие пассажиров на склоне холма, начали разъезжаться. Вот последняя машина скрылась за углом полицейских казарм, мигнув задними огнями. Нищий сказал:

— Ну, друг, считай, тебе повезло. Сколько ты мне дашь...

— За бутылку?

— За то, что я сведу тебя с человеком, у которого есть бренди — настоящее, из Веракруса.

— С моим горлом, — пояснил человек, — мне можно только вино.

— Пульке, мескаль — у него все есть.

— А вино?

— Айвовое.

— Я отдам все свои деньги, — торжественно сказал человек в поношенной одежде и уточнил: — То есть кроме сентаво... за натуральное виноградное вино. — Где-то внизу, у реки, послышались барабанная дробь и нестройный топот — раз-два, раз-два. Солдаты или полицейские возвращались на ночевку в казармы.

— Сколько? — нетерпеливо повторил нищий.

— Я дам тебе пятнадцать песо, и ты достанешь мне вино. Сколько заплатишь, твое дело.

— Тогда пошли.

Они стали спускаться с холма; на углу, где одна улица вела к аптеке и дальше, к казармам, а другая — к гостинице, набережной и к складу «Объединенной банановой компании», человек в поношенной одежде остановился. Навстречу, держа винтовки как придется, шагали полицейские.

— Подожди. — Вместе с ними шел какой-то метис: два клыка выступали у него над нижней губой. Человек в поношенной одежде следил за ним из темноты. Метис повернул голову, и взгляды их встретились. Полицейские прошли мимо, поднимаясь на площадь. — Пошли. Быстрее.

Нищий сказал:

— Они нас не задержат. Они за другой дичью охотятся — покрупнее.

— А почему этот человек с ними, как ты думаешь?

— А кто его знает? Может, заложник.

— Заложнику связали бы руки.

— Почему я знаю? — В словах нищего была вызывающая независимость — не редкость в стране, где бедняки имеют право клянчить милостыню. Он спросил: — Так тебе нужно спиртное или нет?

— Мне нужно вино.

— Не знаю, что у него там есть. Бери, что дадут.

Нищий повел своего спутника к реке. Он сказал:

— Может, его и в городе нет. — Жуки вились вокруг них и оседали на асфальт; они щелкали под ногами, как грибы-дождевики, а с реки тянуло зеленой кислятиной. В раскаленном, пыльном скверике белел гипсовый бюст генерала, а на первом этаже единственной в городе гостиницы глухо пульсировал движок. Широкие деревянные ступени, усеянные жуками, вели на второй этаж. — Ну, я постарался ради тебя как мог, — сказал нищий. — Больше никто бы не сделал.

Из номера на втором этаже вышел человек в черных брюках, в плотно облегающей торс фуфайке и с полотенцем через плечо. У него была аристократическая седая борода, брюки держались на подтяжках и на поясе. Откуда-то из недр гостиницы донеслось урчанье водосточной трубы; жуки с размаху хлопались об электрическую лампочку без абажура. Нищий повел серьезный разговор с человеком в черных брюках, и пока они говорили, свет погас, а потом, мигая, зажегся опять. На верхней площадке лестницы стояли вразброс плетеные качалки, а на большой черной доске были написаны фамилии постояльцев — трое на двадцать номеров.

Нищий повернулся к своему спутнику.

— Того господина, — сказал он, — сейчас нет, хозяин говорит. Ну что, подождем его?

— Мне времени не жалко.

Они вошли в большой пустой номер с плиточным полом. Маленькую черную железную кровать, стоявшую там, словно кто-то забыл при переезде. Они сели на нее рядышком и стали ждать, а жуки влетали в комнату сквозь дырявую москитную сетку.

— Он очень важный человек. — сказал нищий. — Двоюродный брат губернатора. Все достанет, все, что ни пожелаешь. Но свести тебя с ним может только тот, кто пользуется у него доверием.

— А ты пользуешься?

— Я на него работал, — сказал нищий и добавил с полной откровенностью: — Хочешь не хочешь, а приходится доверять.

— И губернатор знает об этом?

— Конечно нет. Губернатор человек крутой.

Водопроводные трубы то и дело громко заглатывали воду.

— Почему же он мне должен довериться?

— Ну, любителя выпить сразу видно. Ты еще не раз к нему придешь. У него товар хороший. Дай-ка мне твои пятнадцать песо. — Он дважды пересчитал монеты. — Получишь бутылку самого хорошего бренди из Веракруса. Помяни мое слово. — Свет погас, и они сидели в темноте. Когда кто-нибудь из них двигался, кровать под ним скрипела.

Послышался голос:

— Бренди мне не нужно. Во всяком случае, не целую бутылку.

— Так что же тебе нужно?

— Я уже говорил — вино.

— Вино дорого.

— Это неважно. Или вино, или ничего.

— Айвовое?

— Нет, нет. Французское вино.

— У него иногда бывает из Калифорнии.

— Ну что ж, это мне годится.

— Сам-то он, конечно, получает все даром. С таможни.

Движок внизу снова начал тархтеть, загорелся тусклый свет. Дверь отворилась, и хозяин поманил нищего; последовали длинные переговоры. Человек в поношенной одежде откинулся на кровати. Подбородок у него был порезан в нескольких местах — там, где рука с бритвой дрогнула, — лицо осунувшееся, болезненное; когда-то, вероятно, щеки были круглые, пухлые, но теперь ввалились — ни дать ни взять разорившийся делец.

Нищий вернулся. Он сказал:

— Тот господин сейчас занят, но скоро придет. Хозяин послал за ним мальчишку.

— Где он?

— Ему нельзя мешать. Он играет на бильярде с начальником полиции. — Нищий подошел к кровати, раздавив двух жуков босыми ногами. Он сказал: — Гостиница эта прекрасная. Ты где остановился? Ты ведь не здешний?

— Да, я здесь только проездом.

— Этот господин очень влиятельный человек. Хорошо бы угостить его. Ведь не унесешь же ты все с собой. Выпить можно и здесь.

— Мне бы оставить себе хоть немножко — взять домой.

— Какая разница, где пить. Я считаю, где есть стул и стакан, там и дом.

— Все-таки... — Свет опять погас, а молнии на горизонте взлетали, как занавески. Откуда-то издали сквозь москитную сетку в комнату докатились удары грома, похожие на гул, который доносится с другого конца города во время воскресного боя быков.

Нищий спросил по-дружески:

— А ты чем занимаешься?

— Да так, чем придется.

Они замолчали, прислушиваясь к шагам на деревянной лестнице. Дверь отворилась, но в темноте ничего не было видно. Чей-то голос отпустил ругательство — для порядка — и спросил:

— Кто тут? — Зажженная спичка осветила синеватую тяжелую челюсть и потухла. Движок затарахтел, и свет снова вспыхнул. Вошедший устало проговорил: — А, это ты.

— Это я.

Он был маленький, с широким не по росту, бледным лицом, одет в узкий серый костюм. Под жилетом у него выпячивался револьвер. Он сказал:

— У меня ничего нет. Ровным счетом ничего.

Нищий прошлепал через всю комнату и начал тихо и серьезно говорить что-то. За разговором он осторожно нажал босой ногой на начищенный до блеска ботинок своего собеседника. Тот испустил вздох, раздул щеки и подозрительно оглядел кровать, словно опасаясь, уж не распорядились ли тут посетители без него. Он резко проговорил, обращаясь к человеку в поношенной одежде:

— Значит, тебе нужно бренди? Из Веракруса? Это противозаконно.

— Не бренди. Бренди мне не нужно.

— А пиво, скажешь, плохо? — Поскрипывая ботинками по плиткам, он развязно, начальственно вышел на середину комнаты — губернаторский родственник! — И пригрозил: — Мне ничего не стоит тебя посадить.

Человек в поношенной одежде сказал, как и полагалось, приниженно:

— Конечно, ваше превосходительство...

— Думаешь, только мне и дела что поить каждого попрошайку, который...

— Я бы не стал вас беспокоить, но вот этот человек...

Губернаторский брат сплюнул.

— Но если вашему превосходительству угодно, я уйду...

Тот резко проговорил:

— Я человек мягкий. Всегда делаю одолжение людям... когда это в моих силах и никому не вредит. Я человек с положением, понимаешь? Спиртное получаю легально.

— Да, конечно.

— И беру за него столько, сколько оно мне самому стоит.

— Конечно, конечно.

— А не брать, так по миру пойдешь. — Ступая осторожно, точно ему жали ботинки, он подошел к кровати и откинул одеяло. — Болтать любишь? — бросил он через плечо.

— Нет, я умею держать язык за зубами.

— Болтать-то болтай, только знай кому. — В тюфяке была большая дыра; он вытащил из нее пук соломы и снова запустил туда пальцы. Человек в поношенной одежде с деланным безразличием устремил взгляд на скверик за окном, на темные глинистые берега и на мачты парусников; позади них вспыхивали молнии, гром стал слышнее.

— Вот, — сказал губернаторский брат. — Это я могу тебе дать. Хорошее бренди.

— Да мне, собственно, не бренди нужно.



— Бери, бери, что дают.

— Тогда, пожалуй, верните мне мои пятнадцать песо.

Губернаторский брат вскричал:

— Пятнадцать песо? — Нищий поторопился объяснить, что этот человек хочет купить и немножко вина, и бренди. Сидя на постели, они стали яростно торговаться вполголоса. Губернаторский брат сказал: — Вино трудно достать. Бренди две бутылки я тебе дам.

— Одну бренди, а вторую...

— Это лучшее бренди. Из Веракруса.

— Но я пью вино... Если бы вы знали, как мне хочется вина...

— Вино я получаю по дорогой цене. Сколько ты можешь еще заплатить?

— У меня осталось всего-навсего семьдесят пять сентаво.

— Тогда бери бутылку текилы.

— Нет, нет.

— Ну, давай еще пятьдесят сентаво. Бутылка большая. — Он снова начал копаться в тюфяке, вытаскивая оттуда солому. Нищий подмигнул человеку в поношенной одежде и показал, будто откупоривает бутылку и наливает вина в стакан.

— Вот, — сказал губернаторский брат. — Хочешь — бери, хочешь — нет.

— Возьму, возьму.

Губернаторский брат сразу оставил свой грубый тон. Он потер руки и сказал:

— Вечер какой душный. Дожди в этом году, наверно, рано начнутся.

— Не окажет ли мне ваше превосходительство честь выпить бренди в ознаменование моей покупки?

— Ну что ж... можно.

Нищий отворил дверь и крикнул, чтобы принесли стаканы.

— Давно я не пил вина. — сказал губернаторский брат. — Для тоста оно, пожалуй, больше подходит.

— Конечно. — сказал человек в поношенной одежде. — Как вашему превосходительству будет угодно. — С мучительным беспокойством он смотрел, как бутылку откупоривают. Он сказал: — Если позволите, я лучше выпью бренди. — и заставил себя улыбнуться кривой улыбкой, глядя на убывающее в бутылке вино.

Сидя на кровати, все трое чокнулись: нищий пил бренди.

Губернаторский брат сказал:

— Это вино моя гордость. Прекрасное вино. Самое лучшее — из Калифорнии. — Нищий подмигнул, сделал знак рукой, и человек в поношенной одежде сказал:

— Еще стаканчик, ваше превосходительство, и могу ли я порекомендовать вам... бренди.

— Бренди хорошее, но я все-таки выпью вина. — Они наполнили свои стаканы. Человек в поношенной одежде сказал:

— Я хочу взять вино домой... угощу свою старушку. Она любит пропустить стаканчик.

— И правильно делает, — сказал губернаторский брат, осушая свой стакан. — Значит, у тебя есть старушка?

— У всех у нас есть.

— Ты счастливчик. Моя умерла. — Его рука потянулась к бутылке, схватила ее. — Иной раз тоскую по ней. Я звал свою «дружок». — Он наклонил бутылку над стаканом. — С твоего разрешения?

— Пожалуйста, ваше превосходительство, — уныло проговорил человек в поношенной одежде и сделал большой глоток бренди. Нищий сказал:

— Старушка и у меня есть.

— Ну и что? — оборвал его губернаторский брат. Он откинулся к стене, и кровать под ним скрипнула. Он сказал: — Я всегда говорю, женское влияние благотворнее мужского, женщина склоняет нас к миру, добру, милосердию. В годовщину смерти моей старушки я хожу на ее могилу — с цветами.

Человек в поношенной одежде чуть не икнул, но сдержался из вежливости.

— Если бы я тоже мог...

— Но ты же сказал, что твоя мать жива.

— Я думал, вы говорите о своей бабушке.

— Что я могу о ней сказать? Я ее даже не помню.

— Я тоже.

— А я помню, — сказал нищий.

Губернаторский брат сказал:

— Ты слишком много болтаешь.

— Может, послать его, чтобы завернул бутылку? Как бы меня не увидели с ней. Я не хочу подводить ваше превосходительство.

— Подожди, подожди. Куда нам торопиться? Ты здесь желанный гость. Все, что есть в этой комнате, все к твоим услугам. Выпей вина.

— Пожалуй, бренди...

— Тогда с твоего разрешения... — Он наклонил бутылку и пролил немного вина на одеяло. — О чем это мы говорили?

— О наших бабушках.

— Нет, не о них... Я свою даже не помню. Самое первое мое воспоминание...

Дверь отворилась. Хозяин сказал:

— Начальник полиции поднимается по лестнице.

— Прекрасно. Проведите его сюда.

— А это ничего?

— Конечно. Начальник хороший человек. — Он сказал, обращаясь к своим собутыльникам: —  
Но на бильярде с ним держи ухо востро.

В дверях появился коренастый мужчина в фуфайке, в белых штанах и с револьвером в кобуре.  
Губернаторский брат сказал:

— Входи, входи. Как твои зубы? Мы тут говорим о наших бабушках. — Он резко сказал нищему: — Подвинься. Уступи место хефе.

Хефе стоял в дверях, вид у него был несколько смущенный. Он сказал:

— Так, так...

— У нас тут небольшая пирушка. Может, присоединишься к нам? Сочтем за честь.

При виде вина лицо у хефе сразу просветлело.

— Ну что ж, стаканчик... пива всегда кстати.

— Правильно. Налей хефе пива. — Нищий налил вина в свой стакан и подал его хефе. Тот сел на кровать и выпил, потом сам взял бутылку. Он сказал:

— Хорошее пиво. Очень хорошее. У вас только одна бутылка? — Человек в поношенной одежде смотрел на него, застыв от волнения.

— Увы, только одна.

— Ваше здоровье!

— Так о чем же. — спросил губернаторский брат. — мы говорили?

— О вашем первом воспоминании. — сказал нищий.

— Первое мое воспоминание... — не спеша начал хефе. — Но этот господин ничего не пьет.

— Я выпью бренди — немножко.

— Ваше здоровье!

— Ваше здоровье!

— Первое, что мне запомнилось более или менее ясно, это мое первое причастие. Ах, какой душевный трепет оно вызвало! Я стоял в окружении родителей...

— Сколько же у тебя их было?

— Двое, конечно.

— Тогда они не могли тебя окружать, на это требуется по крайней мере четверо. Ха-ха!

— Ваше здоровье!

— Ваше здоровье!

— И вот какая ирония судьбы. Мой тяжкий долг повелел мне присутствовать при расстреле того старика, священника — от которого я принял первое причастие. Не постыжусь признаться, но у меня лились слезы. Я утешаю себя тем, что он, вероятно, причислен к лику святых и молится за нас. Не каждый заслужил заступническую молитву святого.

— Неисповедимы пути...

— Да, жизнь — это загадка.

— Ваше здоровье!

Человек в поношенной одежде сказал:

— Стаканчик бренди, хефе?

— В этой бутылке так мало осталось, что я лучше...

— Мне очень хочется отнести немножко матери.

— Да тут на самом дне. Ты ее обидишь. Один осадок. — Он опрокинул бутылку над своим стаканом и хмыкнул: — Если у пива бывает осадок. — Потом, задержав руку с бутылкой, удивленно проговорил: — Да ты плачешь, друг? — Все трое, чуть приоткрыв рты, уставились на человека в поношенной одежде. Он сказал:

— Со мной всегда так — от бренди. Простите меня, господа. Я быстро пьянею, и мне начинает видаться...

— Что?

— Сам не знаю. Будто все человеческие надежды угасают.

— Да ты поэт!

Нищий сказал:

— Поэт — душа своей страны.

Окна белым полотнищем осветила молния, где-то над головой у них грянул удар грома. Единственная лампочка под потолком мигнула и погасла.

— Плохи дела у моих полицейских. — сказал хефе, раздавив ногой слишком близко подползшего жука.

— Почему плохи дела?

— Дожди рано начинаются. Они ведь рыщут.

— За тем гринго?..

— Да что там гринго! Губернатору стало известно, что у нас в штате все еще есть священник, а вы знаете, как он к ним относится. Я бы на его месте не трогал беднягу — пусть бродит. Все равно умрет от голода или от лихорадки или сладся. От него теперь ни добра, ни зла. Да и занялись им всего два-три месяца назад, а до этого никто и не замечал, что он здесь.

— Тогда вам надо поторопиться.

— Да куда он не денется. Разве только перейдет границу. У нас есть человек, который знает его. Говорил с ним, им пришлось заночевать вместе. Давайте о чем-нибудь другом побеседуем. Полицейским не позавидуешь.

— Где он сейчас, по-твоему?

— Никогда не догадаешься.

— Почему?

— Здесь — то есть у нас в городе. Да, да, мы пришли к такому выводу. В деревнях начали брать заложников, ему деваться некуда. Его отовсюду гонят, не хотят иметь с ним дело. Так что мы пустили того человека, о котором я говорил, как собаку по следу. Не сегодня, так завтра он на него наткнется, а тогда...

Человек в поношенной одежде спросил:

— Многих заложников вам пришлось расстрелять?

— Пока нет. Троих-четверых. Ну-с, приканчиваю пиво. — Он с сожалением опустил стакан. — Теперь, может, попробовать ваш... назовем его сидрал.

— Да, пожалуйста.

— А мы с тобой никогда не встречались? Твое лицо мне...

— По-моему, я не имел чести.

— Вот вам еще одна загадка, — сказал хефе, протягивая свою длинную толстую руку и легонько отталкивая нищего к медным шишечкам кровати. — Иногда тебе кажется, что ты уже видел человека, бывал в каком-то месте... Во сне это было или в прошлой жизни? Один врач говорил, будто вся причина тут в фокусе зрения. Но он американец. Материалист.

— Я помню, как... — сказал губернаторский брат. Молния высветила порт, над гостиничной крышей ударил гром. Так было во всем штате — снаружи гроза, а за стенами разговоры, разговоры и бесконечно повторяющиеся слова «загадка», «душа», «источник жизни». Они сидели на кровати и разговаривали, ибо не было у них ни дел, ни веры, ни других мест получше, куда можно пойти.

Человек в поношенной одежде сказал:

— Ну, мне, пожалуй, пора.

— Куда ты?

— Да... к знакомым, — неопределенно ответил он и, описав руками широкий круг, включил в него все свои несуществующие знакомства.

— Бутылку бери с собой, — сказал губернаторский брат и добавил, признавая очевидный факт: — Ты же за нее заплатил.

— Спасибо, ваше превосходительство. — Он взял бутылку. Бренди в ней было пальца на три. Вина, конечно, совсем не осталось.

— Спрячь ее, спрячь, любезный, — резко проговорил губернаторский брат.

— Да, да, ваше превосходительство. Я поостерегусь.

— Какое он тебе превосходительство? — сказал хефе. Он заржал и столкнул нищего с кровати на пол.

— Да нет, я... — Он бочком вышел из номера, все еще с пятнами слез под красными, воспаленными глазами, и услышал из коридора, как они снова завели свой никуда не ведущий разговор о «загадке», «душе», «тайне».

Жуков на улице больше не было; их, видимо, смыло дождем. Дождевые струи падали отвесно, с каким-то мерным упорством, точно вбивали гвозди в гробовую крышку. Но в воздухе стояла все такая же духота; пот и дождь пропитывали одежду. Священник задержался на минуту в гостиничных дверях, слушая, как позади тарахтит движок, потом пробежал несколько ярдов до другого дома и, юркнув в нишу у входа, поглядел оттуда мимо гипсового генеральского бюста на пришвартованные к причалу парусники и старую баржу с железной трубой. Идти ему было некуда: дождь нарушил все его расчеты: он думал, что как-нибудь перебьется — заночует на скамейке или у реки.

Мимо по улице, отчаянно ругаясь, прошагали к набережной двое солдат. Они шли под дождем, не обращая на него никакого внимания, словно все до того плохо, что есть дождь или нет дождя — это уже неважно... Священник толкнул деревянную дверь, доходившую ему только до колен, и вошел в таверну: штабеля бутылок с минеральной водой, единственный бильярдный стол, над ним нанизанные на веревку кольца — счет очков; трое-четверо мужчин, чья-то кобура, положенная на стойку. Священник торопился спрятаться от ливня и, войдя, нечаянно толкнул под локоть человека, готовившегося к удару кием. Игрок повернулся и яростно крикнул:

— Матерь Божия! — Он был в красной рубашке. Неужели нигде, даже на минуту, нельзя почувствовать себя в безопасности?

Священник униженно извинился, попятился к двери и, опять сделав неосторожное движение, задел за стену; бутылка с бренди звякнула у него в кармане. На лицах, обращенных к нему, появилась недобрая усмешка: почему не подшутить над незнакомцем?

— Что это у тебя в кармане? — спросил человек в красной рубашке. Юнец, ему, вероятно, и двадцати лет не было — золотой зуб, насмешливая, самодовольная складка у рта.

— Лимонад. — ответил священник.

— А зачем ты с собой лимонад таскаешь?

— Я принимаю хинин на ночь... запиваю лимонадом. Краснорубашечник вразвалку подошел к нему и тронул кием его карман.

— Лимонад, говоришь?

— Да, лимонад.

— Ну-ка, дай взглянуть на твой лимонад. — Он горделиво повернулся к своим партнерам и сказал: — За десять шагов контрабандиста чую. — Потом сунул руку священнику в карман и нащупал бутылку с бренди. — Вот. — сказал он. — Что я говорил? — Священник рванулся к двери и выскочил под дождь. Позади кто-то крикнул:

— Держи его! — Веселью их не было конца. Он побежал к площади, свернул налево, потом направо — на улицах, к счастью, было темно, луну закрывали тучи. Если держаться подалее от освещенных окон, его не разглядят. Он слышал их переключку вдали. Они не прекращали погони — это было интереснее, чем играть на бильярде; где-то послышался свисток — к ним присоединилась полиция.

И вот в этот-то город он мечтал попасть, получив повышение и оставив в Консепсьоне долги — столько, сколько подобало. Сворачивая с одной улицы на другую, он вспомнил собор, Монтеса и одного знакомого каноника. Что-то, глубоко запрятанное в нем — воля к спасению, — придало на миг чудовищную смехотворность тому, что происходило с ним. Он усмехнулся, перевел дух и снова усмехнулся. В темноте слышались свистки и улюлюканье, а дождь все лил и лил. Дождевые струи приплясывали на ненужных теперь цементных плитах бывшего кафедрального собора (играть в пелоту при такой жаре никому не пришлось бы в голову; вдобавок на краю площадки виселицами стояли железные качели). Он снова побежал вниз по склону холма. Его осенила счастливая мысль.

Крики слышались все ближе и ближе, и вот от реки к нему двинулись новые преследователи. Они действовали методически. Он понял это по их размеренной поступи... Полицейские, официальные охотники. Он был между теми и другими — между любителями и профессионалами. Но он знал, где та калитка, которая нужна ему. Он толкнул эту калитку, вбежал во дворик и захлопнул ее за собой.

Тяжело дыша, он стоял в темноте и прислушивался к приближающимся шагам, а дождь все хлестал и хлестал. Потом он почувствовал, что из окна на него кто-то смотрит, увидел маленькое, морщинистое лицо, темное, как те засушенные головы, что покупают туристы. Он подошел к оконной решетке и сказал:

— Падре Хосе?

— Вон туда. — В неровном огоньке свечи в окне появилось еще одно лицо, за ним — третье; лица вырастали, как из-под земли. Он прошлепал по лужам через дворик и стал стучать в дверь, чувствуя, что за ним наблюдают.

Он не сразу узнал падре Хосе; тот стоял в нелепой, расходящейся книзу колоколом ночной рубашке, с лампой в руке. Последний раз он видел его на церковном совете — сидит на задней

скамейке, кусает ногти, не хочет оказаться на виду. Это было лишнее — деловитое кафедральное духовенство даже не знало его имени. А теперь, как ни странно, падре Хосе завоевал своего рода известность — не им чета.

— Хосе, — тихо проговорил священник из темноты, моргая залитыми дождем глазами.

— Кто вы такой?

— Ты не помнишь меня? Правда, с тех пор прошли годы... Не помнишь церковный совет в соборе?

— О Господи! — сказал падре Хосе.

— Меня ищут. Я думал, может, ты приютишь меня... на одну ночь?

— Уходи, — сказал падре Хосе. — Уходи.

— Они не знают, кто я. Думают, контрабандист. Но в полицейском участке все поймут.

— Тише... Моя жена...

— Мне бы только уголок, — прошептал он. Ему снова стало страшно. Опьянение, наверно, уже проходило (в этом влажном и жарком климате быстро трезвеют: алкоголь выступает потом под мышками, каплями стекает со лба), а может быть, к нему снова вернулась жажда жизни, какой бы она ни была.

Лампа освещала полное ненависти лицо падре Хосе. Он сказал:

— Почему ты пришел ко мне? Почему ты думаешь, что... Не уйдешь, я позову полицию. Ты знаешь, что я за человек теперь?

Он умоляюще проговорил:

— Ты хороший человек, Хосе. Я всегда это знал.

— Не уйдешь, я крикну.

Он пытался вспомнить, откуда у Хосе такая ненависть к нему. На улице слышались голоса, пререкания, стук в двери. Что они, обыскивают дом за домом? Он сказал:

— Если я когда-нибудь обидел тебя, Хосе, прости мне. Я был плохой священник — самодовольный, гордый, заносчивый. И всегда знал в глубине души, что ты лучше.

— Уходи! — взвизгнул Хосе. — Уходи! Нечего здесь делать мученикам. Я не священник больше. Оставь меня в покое. Я живу как живется. — Он надулся, собрав всю свою ярость в плевков, и слабо харкнул, метя ему в лицо, но не попал — плевков бессильно шлепнулся на землю. Он сказал: — Уходи и помирай поскорее. Вот что тебе осталось, — и захлопнул дверь. Калитка распахнулась, во дворик вошли полицейские. Он успел увидеть, как Хосе выглядывает из окна, но тут рядом с ним выросла огромная фигура в белой ночной рубашке, обхватила его и оттолкнула прочь, словно ангел-хранитель, ставший между ним и миром, полным губительных страстей и борьбы. Кто-то сказал:

— Попался! — Это был голос молодого краснорубашечника. Священник разжал кулак и уронил у стены дома падре Хосе комочек бумаги. Он сдал последние позиции, порвал последнюю связь с прошлым.

Он знал, что наступило начало конца — после всех этих лет! Бутылку вытащили у него из кармана, а он стоял и читал про себя покаянную молитву, не вникая в ее смысл. Это напоминало формальное предсмертное покаяние; истинное покаяние — плод многих упражнений и дисциплины, одного страха мало. Он заставил себя думать о дочери, стыдясь своего греха, но в нем говорила только изголодавшаяся любовь — что-то ждет ее в жизни? А грех был такой давности, что позор потускнел,

точно краски на старой картине, оставив после себя лишь нечто вроде умиления. Краснорубашечник разбил бутылку о камни мощеного двора, и вокруг запахло спиртным — правда, не очень сильно, потому что бренди в бутылке было на дне.

Потом его повели; теперь, когда он попался, все они держались дружелюбно, подсмеиваясь над его попытками скрыться — все, кроме краснорубашечника, которому он испортил игру. Он терялся, не зная, как отвечать на их шутки; мысль о спасении овладела им как мучительная, навязчивая идея. Когда они поймут, кто он такой на самом деле? Когда он увидит метиса или лейтенанта, который уже допрашивал его? Они кучкой шли по улице, медленно поднимаясь вверх по холму к площади. У входа в полицейский участок послышался стук ружейного приклада о цемент. Возле грязной оштукатуренной стены чадил маленькая лампа, во дворе покачивались гамаки, провисшие под спящими телами, точно сетки, в которых носят кур.

— Садись. — сказал ему полицейский, по-дружески подталкивая его к скамейке. Ну вот и все: за дверь взад и вперед ходил караульный, во дворе от гамаков доносился нескончаемый храп.

Кто-то заговорил с ним; он беспомощно поднял глаза:

— Что? — Между полицейскими и краснорубашечником шел спор — будить или не будить кого-то.

— Он обязан по долгу службы, — твердил краснорубашечник. Передние зубы у него выступали вперед, как у зайца. Он сказал: — Я буду жаловаться губернатору.

Полицейский спросил:

— Ты ведь признаешь себя виновным?

— Да. — ответил священник.

— Ну вот. Чего тебе еще надо? Оштрафуем на пять песо. Зачем беспокоить человека.

— А кому пойдут эти пять песо?

— Это тебя не касается.

Священник вдруг сказал:

— Никому не пойдут.

— Никому?

— У меня всего-навсего двадцать пять сентаво.

Дверь в соседнюю комнату распахнулась, и оттуда вышел лейтенант. Он сказал:

— Что за крик вы тут подняли? — Полицейские неохотно, кое-как отдали ему честь.

— Я задержал человека, у которого обнаружено спиртное, — сказал краснорубашечник.

Священник сидел, опустив глаза.

— ...ибо распяли его... распяли... распяли... — Покаяние беспомощно спотыкалось об заученные слова молитвы. Он ничего не чувствовал, кроме страха.

— Ну и что? — сказал лейтенант. — При чем тут ты? Мы таких десятками задерживаем.

— Вести его? — спросил полицейский. Лейтенант взглянул на приниженно поникшую фигуру на скамейке.

— Встать. — сказал он.

Священник встал. Вот сейчас, думал он, сейчас... Он поднял глаза. Но лейтенант смотрел на



слонявшегося у входа караульного. На его смуглом, худом лице вспыхнули беспокойство, раздражение.

— Он без денег. — сказал полицейский.

— Мать Божия! — сказал лейтенант. — Когда вы научитесь?.. — Он шагнул к караульному и оглянулся: — Обыскать его. Если денег нет, посадить в камеру. Дайте ему какую-нибудь работу. — Он вышел во двор и, размахнувшись, ударил караульного по уху. Он сказал: — Спишь на ходу. А ты должен чеканить шаг горделиво... — И повторил: — Горделиво. — Маленькая ацетиленовая лампа чадила у побеленной стены, со двора несло мочой, и полицейские спокойно спали в провисших гамаках.

— Записать его? — сказал сержант.

— Да, конечно, — не глядя на священника, бросил на ходу лейтенант и быстрой, нервной походкой прошел мимо лампы во двор. Он стал там под дождем, заливавшим его щегольской мундир, и огляделся по сторонам. Мысли его были далеко — точно какая-то тайная страсть нарушила заведенный порядок привычной ему жизни. Он вернулся назад. Он не находил себе места.

Сержант втокнул священника во внутреннее помещение участка; на облезлой стене висел яркий рекламный календарь — темнокожая метиска в купальном костюме рекламировала минеральную воду, а рядом карандашная надпись, сделанная аккуратным, учительским почерком, гласила, что человеку нечего терять, кроме своих цепей.

— Фамилия? — спросил сержант. Не успев подумать, священник ответил:

— Монтес.

— Где живешь?

Священник назвал наугад какую-то деревню. Он был поглощен созерцанием собственного портрета. Вот он сидит среди первопричастниц в накрахмаленных белых платьях. Кто-то обвел чернилами его лицо, чтобы оно выделялось. На стене был еще один портрет — гринго из Сан-Антонио в штате Техас, которого разыскивали по обвинению в убийстве и ограблении банка.

— Ты, наверно, купил бренди, — осторожно проговорил сержант, — у незнакомого тебе человека...

— Да.

— Которого опознать не сможешь?

— Да.

— Молодец! — одобрительно проговорил сержант; ему явно не хотелось начинать расследование. Он попросту взял священника за локоть и вывел во двор; в другой руке у него был большой ключ вроде тех, что имеют символическое значение в постановках моралите или волшебных сказок.

Спящие завозились в гамаках, через край одного свесилась небритая физиономия, точно часть туши, оставшейся непроданной на прилавке мясника; большое рваное ухо, голое, все в черной шерсти бедро. Скоро появится метис; он, конечно, узнает меня и просияет от радости.

Сержант отпер низкую зарешеченную дверь и оттолкнул ногой что-то валявшееся у входа.

— Люди здесь хорошие, здесь все хорошие. — сказал он, шагая по телам спящих. В воздухе стоял ужасающий смрад, в крошечной тьме кто-то плакал.

Священник задержался на пороге, ничего не видя перед собой.

В бугристой темноте что-то двигалось, шевелилось. Он сказал:

— У меня пересохло во рту. Можно выпить воды?

Вонь ударила ему в нос, к горлу подступила тошнота.

— Потерпи до утра, — сказал сержант. — Сегодня ты уже достаточно выпил. — И, дружелюбно положив свою большую руку ему на спину, толкнул его в камеру и захлопнул дверь. Священник наступил кому-то на руку, на плечо и, припав лицом к решетке, в ужасе пролепетал:

— Здесь стать некуда. Я ничего не вижу. Кто эти люди? — От гамаков донесся хохот сержанта.

— Nombre<sup>9</sup>, — сказал он, — nombre, ты что, никогда в тюрьме не сидел?

### 3

Голос, где-то у самых его ног, проговорил:

— Курево есть? — Он дернулся назад и наступил кому-то на руку. Другой голос повелительно сказал: — Воды, скорее! — будто обладатель его думал, что, если новичка застать врасплох, он все даст.

— Курево есть?

— Нет. — Он тихо добавил: — У меня ничего нет, — и ему показалось, что враждебность поднимается снизу, как дым. Он снова двинулся. Кто-то сказал:

— Осторожнее, там параша. — Вот откуда несло вонью. Он замер на месте, дожидаясь, когда к нему вернется зрение. Дождь на улице стихал, припуская лишь на минутку, и гром удалялся. Между вспышками молний и громовыми раскатами уже можно было сосчитать до сорока. На полпути к морю или на полпути к горам. Он стал нащупывать ногой, где бы опуститься на пол, но свободного места не было. При вспышке молнии он увидел гамаки в дальнем конце двора.

— Поесть не найдется? — спросил чей-то голос и, не дождавшись ответа, повторил: — Поесть не найдется?

— Нет.

— Деньги есть? — спросил кто-то другой.

Внезапно футах в пяти от него послышался тоненький визг — женский. Кто-то устало сказал:

— Вы там... нельзя ли потише. — Осторожные движения и снова приглушенные, но не болезненные стоны. Он ужаснулся, поняв, что даже здесь, в тесноте и мраке, кто-то ищет наслаждения. И снова двинул ногой и дюйм за дюймом стал пробираться подальше от зарешеченной двери. Поверх людских голосов, ни на минуту не умолкая, слышался другой звук, точно шум работы маленького движка с приводным ремнем. Шум заполнял минуты тишины сильнее человеческого дыхания. Это были москиты.

Священник отошел от решетки футов на шесть, и его глаза уже начали различать головы... Может быть, в небе стало светлее? Головы выросли вокруг, точно тыквы. Кто-то спросил:

— Ты кто? — Он не ответил, в страхе пробираясь вперед, и вдруг наткнулся на заднюю стену: ладонь уперлась в мокрые камни. Тюрьма была не больше двенадцати футов в глубину. Оказалось, что тут можно втиснуться и сесть, если подобрать под себя ноги. К нему привалился старик; он понял это по легчайшему весу его тела, по слабому, неровному дыханию. То ли старик на пороге смерти, то

---

<sup>9</sup> друг (исп.)

ли ребенок на пороге жизни — но ребенок вряд ли мог очутиться здесь. Старик вдруг сказал:

— Это ты, Катарина? — и испустил долгий терпеливый вздох, точно он прождал долго-долго и может ждать еще дольше.

Священник сказал:

— Нет. Не Катарина. — Когда он заговорил, все умолкли, вслушиваясь в его слова, точно они несли какую-то важную весть. Потом голоса и движение снова возникли. Но звук собственного голоса и общение с соседом успокоили его.

— Нет, конечно нет, — сказал старик. — Я и не думал, что ты Катарина. Она сюда не придет.

— Это твоя жена?

— Какая жена? У меня нет жены.

— А Катарина?

— Это моя дочь. — Все снова прислушались к ним — все, кроме двух невидимок, которые были заняты только своим скрытым темнотой, стесненным в пространстве наслаждением.

— Ее сюда, может, и не пустят.

— Она сама не придет, — с твердой уверенностью, безнадежно произнес старческий голос. Поджатые ноги начали затекать.

Священник сказал:

— Если она тебя любит... — В стороне, среди груды неясных теней, женщина снова вскрикнула — это был завершающий все крик протеста, отрешенности и наслаждения.

— Во всем виноваты священники. — сказал старик.

— Священники?

— Священники.

— Почему священники?

— Священники.

У его колен кто-то тихо сказал:

— Он сумасшедший. Что с ним говорить.

— Это ты, Катарина? — Помолчав, старик добавил: — Я знаю, тебя нет. Я просто так спросил.

— Вот мне есть на что пожаловаться, — продолжал тот же голос. — Человек обязан защищать свою честь. Ты согласен со мной?

— Честь? Я не знаю, что такое честь.

— Я был в таверне, и ко мне подошел один человек и сказал: «Твоя мать шлюха». Что я мог поделаться? У него был револьвер. Тогда я решил жрать, больше мне ничего не оставалось. Он пил пиво, много выпил, а я знал, что так оно и будет, и когда он вышел, пошатываясь, я пошел за ним. У меня была бутылка, и я разбил ее об стену. Ведь револьвера со мной не было. Его родные заручились поддержкой хефе, иначе я бы здесь не сидел.

— Убить человека — страшное дело.

— Ты говоришь как священник.

— Во всем виноваты священники. — сказал старик. — Ты прав.

— О чем это он?

— О чем бы этот старый хрыч ни говорил, слушать его нечего. Я тебе вот еще что расскажу...

Послышался женский голос:

— Священники отобрали у него дочь.

— Почему?

— И правильно сделали. Она незаконнорожденная.

При слове «незаконнорожденная» сердце у него сжалось, как у любовника, когда он услышит из чьих-то уст название цветка, сходное с женским именем. Незаконнорожденная... Это слово пронзало горьким счастьем. Оно приблизило к нему его дочь: вот она, такая незащищенная, сидит под деревом возле мусорной кучи. Он повторил:

— Незаконнорожденная? — словно называя ее по имени с нежностью, скрытой за равнодушием.

— Священники решили, что он не годится в отцы. Но когда они бежали, девочке пришлось вернуться к нему. Куда ей было идти? — Счастливый конец, подумал он, но женщина добавила: — Она, конечно, возненавидела его. Кое-что ей объяснили. — Священник представил себе говорившую: маленький рот, поджатые губы — образованная женщина. Как она попала сюда?

— А почему он в тюрьме?

— У него нашли распятие.

От параши несло все сильнее и сильнее; ночь окружала их точно стеной без всякой вентиляции, и он слышал, как струя мочи ударяет в стенки жестяного ведра. Он сказал:

— Не их это дело...

— Они поступили правильно. Это смертный грех.

— Неправильно учить ребенка ненавидеть отца.

— Они знают, что правильно, что неправильно.

Он сказал:

— Такое могли сделать только плохие священники. Грех остался в прошлом. Их долг учить... учить любви.

— Ты не знаешь, что правильно. А священники знают.

После минутного колебания он отчетливо проговорил:

— Я сам священник.

Это был конец: надеяться больше не на что. Десять лет травли подошли к своему завершению. Вокруг него все смолкло. Тюрьма — как мир: в ней всего было много — и похоти, и преступлений, и несчастной родительской любви. Тюрьма смердела. Но он понял, что в конце концов здесь можно обрести покой, если знаешь, как мало тебе осталось жить.

— Священник? — наконец сказала женщина.

— Да.

— А они это знают?

— Нет еще.

Чьи-то пальцы нащупали его рукав. Голос сказал:

— Зачем вы говорите об этом? Отец, кого здесь только нет! И убийцы и...

Голос, поведавший ему о преступлении, сказал:

— Не оскорбляй меня. Я убил человека, но это еще не значит, что... — Повсюду слышался шепот. Тот же голос продолжал с горечью: — Ты думаешь, я доносчик? Только потому, что когда тебе говорят: «Твоя мать шлюха...»

Священник сказал:

— Доносить на меня никому не надо. Это грех. Когда рассветет, они сами все узнают.

— Вас расстреляют, отец, — сказал женский голос.

— Да.

— Вы боитесь?

— Да. Конечно.

Из угла, где те двое наслаждались, до него донесся новый голос — грубый, настойчивый:

— Мужчины этого не боятся.

— Правда? — сказал священник.

— Будет немного больно. Чего ж вы хотите? Так и должно быть.

— И все-таки, — сказал священник, — я боюсь.

— Зубная боль и то хуже.

— Не каждый такой храбрец.

Голос презрительно проговорил:

— Вы, верующие, все на один лад. Христианство делает из вас трусов.

— Да. Может, ты и прав. Видишь ли, в чем суть, — я плохой священник и плохой человек. Кончатъ жизнь не покаявшись... — Он смущенно хмыкнул. — Тут невольно призадуматься.

— Вот-вот. Об этом и речь. Вера в Бога делает человека трусом. — Голос звучал торжествующе, словно говорившему удалось доказать какую-то истину.

— Как же быть тогда? — сказал священник.

— Лучше не верить — и не будешь трусом.

— Так, понимаю. Значит, если мы поверим, что губернатора не существует и хефе тоже нет, если мы прикинемся, будто тюрьма не тюрьма, а сад, какие из нас выйдут храбрецы!

— Чепуха!

— Но когда мы поймем, что тюрьма — это все-таки тюрьма и что губернатор там, на площади, действительно существует, будет ли иметь значение, если час-два мы были храбрецами?

— Никто не скажет, что эта тюрьма не тюрьма.

— Да? Тебе так кажется? Я вижу, ты мало слушаешь, что говорят политики. — Ноги у него мучительно сводило, в ступнях начались судороги, но он не мог и шевельнуться, чтобы облегчить боль. Полночь еще не наступила, впереди были нескончаемые часы темноты.

Женщина вдруг сказала:

— Подумать только! Среди нас мученик.

Священник тихонько засмеялся; он не мог удержаться от смеха. Он сказал:

— Вряд ли мученики такие, как я. — И вдруг к нему вернулась серьезность; он вспомнил слова Марии. Нехорошо, если из-за него над Церковью будут насмехаться. Он сказал: — Мученики — святые люди. Если человек погиб, это еще не значит, что... Нет. Говорю вам, у меня на душе смертный грех. Я делал такое, о чем даже рассказать вам не посмею. Могу только шепотом поведать о своих грехах в исповедальне. — Его слушали внимательно, как в церкви. Он подумал: ведь здесь обязательно сидит где-нибудь Иуда, но в лесной хижине Иуда был рядом. В сердце его родилась огромная, безрассудная любовь к обитателям этой тюрьмы. И ему вспомнилось: «Господь так возлюбил мир...» Он сказал: — Дети мои, не считайте меня мучеником — они совсем не такие. Вы дали мне прозвище. Я слышал его, часто слышал. Пьющий падре. А здесь я потому, что у меня в кармане нашли бутылку бренди. — Он попытался высвободить из-под себя ноги; их уже не сводило судорогой; они онемели, всякое ощущение пропало. А, пусть! Ему уже не долго пользоваться ими.

Старик бормотал что-то, и мысли священника снова вернулись к Бригитте. Знание жизни было в ней как понятное хирургу затемнение на рентгеновском снимке. И ему страшно, до боли в груди хотелось одного — спасти ее, но диагноз был поставлен: болезнь неизлечима.

Женщина скорбно проговорила:

— Глоток бренди, отец... Это же простительно. — Он гадал, за что ее посадили в тюрьму, — наверно, держала дома какую-нибудь религиозную картинку. Голос у нее звучал настойчиво, нудно, как у всех набожных женщин. Они с ума сходят из-за этих картинок. Что стоит сжечь их? Разве в картинках дело?... Он строго сказал:

— И я не только пьяница. — Его всегда беспокоила судьба набожных женщин; они, как и политики, живут иллюзиями; он всегда за них боялся. Сколько таких, не ведающих милосердия, умирало в непоколебимом самодовольстве. Долг каждого отучать их по мере возможности от этих ложных понятий о добре. Он сказал, четко выговаривая каждое слово: — У меня есть ребенок.

Да, это была достойная женщина! Ее скорбный голос не умолкал в темноте. Он недослышал, что она говорит, — что-то про доброго разбойника. Он сказал:

— Дитя мое, разбойник покаялся. А я — нет. — И вспомнил, как девочка вошла в хижину, — злобный, все понимающий взгляд, а за спиной у нее яркое солнце. Он сказал: — Я не умею каяться. — Это была правда — он утратил такую способность. Он не мог сказать: «Ах, если бы я не согрешил тогда», потому что теперь этот грех казался ничтожным и плод его он любил. Ему нужен был исповедник, который медленно протащил бы его по томительным переходам, ведущим к ужасу, горю и раскаянию.

Женщина молчала; он подумал: может, я был слишком суров с ней? Если она укрепитя в своей вере, сочтя его мучеником... Но он отверг эту мысль: от правды отступать нельзя. Он чуть передвинул ноги и спросил:

— А когда светает?

— В четыре... в пять, — ответил ему кто-то. — Откуда нам знать, отец? Ведь часов у нас нет.

— Ты давно здесь сидишь?

— Три недели.

— И вас держат тут круглые сутки?

— Нет. Нас всех выводят во двор на уборку.

Он подумал; вот когда меня узнают, а может, и раньше, потому что здесь непременно найдется доносчик. Он замолчал, погрузившись в размышления, потом сказал:

— За меня обещано вознаграждение. То ли пятьсот, то ли шестьсот песо, точно я не знаю. — И снова замолчал. Нельзя склонять на донос — это все равно что толкать человека на совершение греха, но если здесь есть доносчик, зачем ему, несчастному, лишаться награды. Пойти на такое страшное дело, равносильное убийству, и ничего не получить взамен при жизни... Вывод был прост: это несправедливо.

— Кому здесь нужны. — сказал кто-то. — их поганые деньги.

Его сердце снова тронула неизъяснимая любовь. Я такой же преступник, как все они... И он почувствовал близость к этим людям, неведомую ему в прежние годы, когда верующие целовали его черную нитяную перчатку.

Голос набожной женщины истерически воззвал к нему:

— Отец! Это же безрассудство! Зачем признаваться им? Вы же не знаете, кто нас окружает. Воры и убийцы...

— А ты как сюда попала? — спросил чей-то злобный голос.

— У меня были хорошие книги дома. — с непереносимой гордостью заявила она. Ему не удалось поколебать ее самодовольство. Он сказал:

— Они всюду есть. И в тюрьме и на воле.

— Хорошие книги?

Он тихо засмеялся:

— Нет, нет. Воры, убийцы. Если б у тебя было знание жизни, дитя мое, ты бы поняла, что на свете есть вещи и похуже. — Старик уснул, привалившись головой ему к плечу, и сердито бормотал что-то во сне. Видит Бог, переменить положение здесь было нелегко, и чем дальше, тем больше немели у него ноги и тем труднее ему становилось. Он не решался двинуть плечом — старик проснется и увидит перед собой еще одну мучительную ночь. Что ж, подумал он, этого старика ограбили мои собратья, и справедливости ради я могу потерпеть немного. Он молчал, застыв на месте у сырой стены, не чувствуя под собой ног, будто пораженных проказой. Москиты жужжали не переставая; отмахиваться от них было бесполезно — они словно входили в состав тюремного воздуха. Кто-то еще заснул и начал храпеть, и удивительно — в этом храпе чувствовалось удовлетворение, будто человек хорошо выпил и досыта поел за обедом и теперь лег отдохнуть. Священник прикинул — который может быть час? Сколько времени прошло с тех пор, как он повстречал нищего на площади? Наверно, только перевалило за полночь. До рассвета придется терпеть еще долгие-долгие часы.

Конец близок, это несомненно, а в то же время надо быть готовым ко всему, даже к побегу. Если Господу угодно спасти его. Господь отведет от него ружье в минуту расстрела. Но Господь милосерд. Отказать ему в покое — а существует ли покой? — Господь может лишь в том случае, если захочет послать своего слугу на спасение еще одной души — его собственной или чужой. Но кого он спасет теперь? Он в бегах; он не смеет зайти ни в одну деревню, ибо за это заплатит жизнью другой человек — может быть, пребывающий в смертном грехе и непокаявшийся. Страшно подумать, сколько душ погибнет только потому, что он упрям, горд и не смиряется с поражением. Ему нельзя даже отслужить мессу — у него нет вина. Оно все ушло в пересохшую глотку начальника полиции. Как это ужасающе сложно! Он боится смерти и будет еще больше бояться, когда наступит утро, но этот исход начинал привлекать его своей простотой.

Набожная женщина зашептала что-то; она, видимо, ухитрилась подвинуться к нему. Она

говорила:

— Отец, примите мою исповедь.

— Дитя мое, где — здесь? Это невозможно. Как же сохранить тайну исповеди?

— Я так давно...

— Прочти покаянную молитву. Надо уповать на милосердие Божие, дитя мое...

— Я готова страдать.

— Ты уже здесь страдаешь.

— Это ничего. Утром моя сестра принесет деньги и заплатит штраф.

Где-то у дальней стены те двое снова предались наслаждению. Это было ясно: возня, прерывистое дыхание и, наконец, вскрик.

Набожная женщина сказала с яростью, во весь голос:

— Прекратите! Свиньи, скоты!

— Поможет ли тебе покаянная молитва, когда ты в таком гневе?

— Но это безобразие!

— Не надо так говорить. Это опасно. Ибо иной раз нам вдруг открывается вся красота наших грехов.

— Красота! — с отвращением проговорила она. — Здесь. В тюремной камере. Когда вокруг всякий сброд.

— Да, красота! Святые говорят, что в страдании тоже есть красота. Но мы с тобой не святые. На наш взгляд, страдание безобразно. Вонь, теснота и боль. А им, тем, что в углу, все это кажется прекрасным. Много надо постичь, чтобы смотреть на жизнь глазами святого. У святых такое тонкое чувство красоты, что они могут смотреть сверху вниз на убогие вкусы невежд. Но у нас с тобой нет такого права.

— Это смертный грех.

— Как знать? Может быть. Но я плохой священник. Я по опыту своему знаю, сколько красоты принес в мир Сатана, павший с неба. И кто скажет, что павшие ангелы были безобразны? Нет, они были такие же быстрые, легкие и...

В углу снова раздался вскрик — свидетельство нестерпимого наслаждения. Женщина сказала:

— Остановите их. Это же позор! — Он почувствовал, как ее пальцы впились ему в колено. Он сказал:

— Все мы здесь собратья по плену. Вот мне сейчас хочется пить больше всего на свете, больше, чем почувствовать Бога. Это тоже грех.

— Теперь, — сказала женщина, — я вижу, что ты плохой священник. До сих пор мне как-то не верилось. А теперь вижу. Ты заодно с этими скотами. Услышал бы тебя твой епископ!

— А-а, епископ далеко отсюда.

Он подумал об этом старике — живет в столице, в каком-нибудь безобразном, комфортабельном, полном благочестия доме, где всюду изображения святых, стены увешаны божественными картинками, служит по воскресениям мессу в кафедральном соборе.

— Вот выйду на волю и обязательно напишу...



Он не мог удержаться от смеха: эта женщина не чувствует, как все изменилось вокруг. Он сказал:

— Если епископ получит твое письмо, ему будет интересно узнать, что я еще жив. — И снова к нему вернулась серьезность. Эту женщину труднее пожалеть, чем метиса, который неделю назад тащился за ним по лесу. С ней дело обстоит хуже. Метиса многое оправдывало — нищета, лихорадка, бесчисленные унижения. Он сказал: — Не надо сердиться. Ты бы помолилась за меня.

— Чем скорее ты умрешь, тем лучше.

Он не мог разглядеть ее в темноте, но от прежних лет у него остались воспоминания о лицах, которые подошли бы к такому голосу. Когда внимательно вглядываешься в человека, всегда начинаешь сострадать ему... таково уж свойство образа и подобия Божьего... когда замечаешь, какие у человека морщинки в уголках глаз, линия рта и как у него растут волосы, разве его можно ненавидеть? Ненависть говорит об отсутствии воображения. И он снова почувствовал огромную ответственность за эту набожную женщину.

— Что ты, что падре Хосе. — сказала она. — Из-за таких вот люди и начинают насмехаться над истинной религией. — Что ж, в конце концов у нее столько же оправданий, сколько и у метиса. Он представил себе парадную комнату, где она проводит дни в качалке, среди семейных фотографий, и никто у нее не бывает. Он мягко спросил:

— Ты ведь, наверно, незамужняя?

— Зачем тебе это знать?

— И призвания служить Господу у тебя не было?

— Мне не поверили. — с горечью сказала она. Он подумал: несчастливая женщина, ничего у нее в жизни нет, ровным счетом ничего. Если бы найти нужное слово... Он в изнеможении откинулся к стене, стараясь не разбудить старика. А нужные слова не приходили ему на ум. И раньше у него было мало общего с такими женщинами, а теперь и подавно. Но в те дни он знал бы, что сказать ей, и, не чувствуя никакой жалости, отделался бы двумя-тремя избитыми фразами. Теперь проку от него мало: он преступник и говорить может только с преступниками. Вот он опять поступил неправильно, пытаясь сломить ее самодовольство. Пусть бы уж она видела в нем мученика.

Глаза у него закрылись, и ему тут же начал сниться сон. За ним гонятся: он стоит у какой-то двери, колотит в нее кулаками, молит, чтобы его впустили, а дверь все не отворяют. Есть спасительное слово, пароль, который может открыть ему доступ в этот дом, но он забыл его. И он перебирает наугад: сыр, ребенок, Калифорния, ваше превосходительство, молоко, Веракрус. Ноги у него затекли, он опускается на колени перед дверью и понимает, почему ему так нужно попасть сюда. Никто его не преследует — это ошибка. Рядом с ним, истекая кровью, лежит его дочь, а в доме живет врач. Он снова ударяет в дверь и кричит: «Я забыл то слово, но неужели у вас нет сердца?» Девочка умирает, не сводя с него самодовольного, умудренного опытом взгляда пожилой женщины. Она говорит: «Скотина ты», — и он просыпается в слезах. Сон продолжался, вероятно, несколько секунд, потому что набожная женщина все еще говорила о том, как монахини не пожелали поверить в ее призвание служить Господу. Он сказал:

— Тебя это мучает? Но так мучиться все же лучше, чем стать монахиней, довольной своей жизнью. — и, сказав это, подумал: что за глупости я говорю! Бессмыслица какая-то. Почему нет у меня слов, которые запомнились бы ей? И перестал искать их. В тюрьме, как и всюду в мире: теснота, мерзость, люди хватаются за малейшую возможность урвать наслаждение или потешить свою гордость. На то, что стоит делать, времени нет, и вот они убаюкивают себя мечтой убежать, спастись...

Он не заснул больше; у него опять шел торг с Богом. Если он вырвется из тюрьмы, на сей раз

это будет окончательно. Он пойдет на север, через границу. Но спасение настолько невероятно, что в случае удачи в нем можно будет усмотреть знак, указание: вред, который он приносит своим примером, больше добра, которое он творит изредка, принимая исповеди. Старик шевельнулся у его плеча, а ночь по-прежнему неподвижно стояла вокруг. Тьма была кромешная, часов нет — ничто не отмеряло уходящего времени. Ночное безмолвие нарушалось только звуками мочи, струящейся в парашу.

Внезапно перед ним выплыло из темноты сначала одно, потом другое лицо. Он уже начал забывать, что когда-нибудь настанет день, так же, как забывают о своей неминуемой смерти. Напоминание налетает внезапно в скрежете тормозов или в свисте, рвущем воздух, и тогда знаешь, что время не стоит на месте, а подходит к концу. Голоса медленно превращались в лица — неожиданностей в этих превращениях не было. Исповедальня учит представлять себе говорящих, угадывать, у кого отвисшая губа, или безвольный подбородок, или фальшь слишком уж прямодушного взгляда. Неподалеку от себя он видел набожную женщину — она спала беспокойным сном, открыв свой жеманный рот с крепкими, как могильные плиты, зубами; увидел старика, задиру в углу и его растрепанную подругу, повалившуюся во сне ему на колени. Теперь, когда день наконец наступил, он один бодрствовал — он да еще мальчик-индеец, который, скрестив ноги, сидел у двери и с радостным изумлением посматривал по сторонам, точно ему никогда не приходилось бывать в такой милой компании. В дальнем конце двора виднелась оштукатуренная стена полицейского участка. Священник начал, как положено, свое прощание с миром, но он не мог отдаться этому всей душой. Близкая смерть казалась ему реальнее его греховности. Одна-то пуля, думал он, почти наверняка попадет прямо в сердце — должен же быть в отряде хоть один меткий стрелок. Жизнь уйдет «за какую-то долю секунды» (так принято считать), но в эту ночь он понял, что время отмечают часы и рождение света. Часов не было, и света не прибывало. Никто ведь по-настоящему не знает, как долго может длиться секунда боли. Может быть, все то время, за которое проходишь чистилище, а может, и вечность. Почему-то ему вспомнился больной раком человек, которого он исповедовал на смертном одре; от разлагающихся внутренностей больного шло такое зловоние, что его родственники стояли, зажав носы платками. Он не святой. Нет ничего безобразнее в жизни, чем смерть.

Во дворе кто-то крикнул:

— Монтес! — Он сидел, поджав под себя омертвевшие ноги, и рассеянно думал: эта одежда уже никуда не годится. Одежда на нем была грязная, изгаженная о пол и пропитанная запахом соседей по камере. А купил он ее с риском для жизни в магазине у реки, выдав себя за мелкого фермера, захотевшего прифрантиться. Но тут он вспомнил, что ему уже недолго ходить в ней — эта мысль сразила его, точно он в последний раз захлопнул за собой дверь своего дома. Голос нетерпеливо повторил: — Монтес!

Священник вспомнил, что сейчас это его имя, и, подняв глаза от своей загубленной одежды, увидел сержанта, ключом открывающего дверь.

— Эй, Монтес! — Он бережно прислонил голову старика к сырой стене и попытался встать, но онемевшие ноги осели под ним, точно они были из теста. — Весь день тут собираешься дрыхнуть? — вспылил сержант. Он явно был не в духе — от вчерашнего благодушия не осталось и следа. Он дал пинка спящему на полу и застучал кулаком в дверь. — Подъем! И все марш во двор. — Послушался его только мальчик-индеец, незаметно выскользнувший из камеры с тем же отрешенно-счастливым выражением лица. Сержант ворчливо сказал: — Грязные псы! Нам, что ли, прикажете умыть вас? Эй, Монтес! — Ноги у священника оживали, сковывая его мучительной болью. Он кое-как добрался до двери.

Во дворе медленно начиналась жизнь. Люди по очереди подходили к единственному водопроводному крану и споласкивали лицо. Солдат в нижней рубашке сидел на земле, держа

винтовку между колен.

— Все во двор умываться, — крикнул сержант, но когда священник вышел, он рывкнул на него: — А ты, Монтес, подождешь.

— Подождать?

— Тебе подыщем другое занятие, — сказал сержант.

Священник стоял, пропуская мимо себя обитателей камеры. Они выходили один за другим; он смотрел им не в лицо, а в ноги, стоя на их пути как искушение. Никто не сказал ни слова. Медленно протаскилась женщина в стоптанных черных туфлях на низком каблуке. Он прошептал, не глядя на нее:

— Помолись за меня.

— Ты что сказал, Монтес?

Он не мог солгать; за десять лет все его запасы лжи иссякли.

— Что ты сказал?

Туфли остановились. Сержанту ответил женский голос:

— Он клянчит милостыню. — Она безжалостно добавила: — Нашел у кого просить. Ничего он у меня не получит. — И прошла во двор, волоча свои плоские ноги.

— Ну как, Монтес, хорошо поспал? — поддразнил его сержант.

— Нет, не очень.

— А на что ты надеялся? — сказал сержант. — Впредь будешь знать, как лакать бренди.

— Да. — «Сколько же продлится такая подготовка?» — подумал он.

— Ну так вот, если ты тратишься на спиртное, будь любезен отработать здесь свою ночевку. Вынеси параши из камер, да смотри не расплеши. Тут и так вонища, не продохнешь.

— А куда их вылить?

Сержант показал на дверь уборной за водопроводным краном.

— Когда все сделаешь, доложи мне, — сказал он и пошел через двор, покрикивая на арестантов.

Священник нагнулся и поднял ведро; оно было полное до краев и очень тяжелое. Он пошел через двор, сгибаясь под этой тяжестью; пот заливал ему глаза. Он протер их и увидел в очереди к водопроводному крану знакомые лица — это были заложники. Вон Мигель, которого взяли при нем; он вспомнил вопли матери Мигеля, и усталый, раздраженный голос лейтенанта, и восходящее солнце. Они тоже увидели его; он поставил тяжелое ведро на землю и посмотрел на них. Если бы он их не узнал, это было бы похоже на намек, просьбу, мольбу, чтобы они продолжали страдать, а ему дали спастись. Мигеля, видимо, били: под глазом у него полсыхала болячка, мухи вились вокруг нее, как они вьются над ободраным боком мула. Потом очередь продвинулась вперед; глядя в землю, они прошли мимо него; дальше были незнакомые. Он молился про себя. «О Господи! Пошли им более достойного человека, за кого можно пострадать!» Он видел в этом дьявольскую насмешку — жертвовать жизнью ради пьющего падре с незаконнорожденным ребенком. Солдат в нижней рубашке сидел, держа винтовку между колен, чистил ногти и обкусывал с пальцев кожицу. И как ни странно, священник почувствовал себя всеми покинутым, потому что никто не подал виду, что знает его.

Уборная оказалась просто выгребной ямой с двумя переброшенными через нее досками, чтобы было где стоять. Священник опростал ведро и пошел через двор к тюремным камерам. Их было шесть. Он по очереди выносил оттуда ведра. Раз ему пришлось остановиться — его вырвало. Плеск-плеск —

взад и вперед по двору. Он вошел в последнюю камеру. Там, прислонившись головой к стене, лежал человек; лучи раннего солнца только-только дотянулись до его ног. Вокруг кучи блевотины на полу жужжали мухи. Глаза его открылись и посмотрели на священника, нагнувшегося к ведру; над нижней губой торчали два клыка...

Священник заторопился и расплескал ведро. Метис сказал таким знакомым ворчливым голосом:

— Стой, стой! Здесь нельзя плескать. — И с гордостью пояснил: — Я не арестант. Я гость. — Священник сделал извиняющийся жест (он боялся заговорить) и снова двинулся. — Тебе сказано: стой. — снова скомандовал метис. — Поди сюда.

Священник упрямо стоял у двери вполоборота к нему.

— Поди сюда, — сказал метис. — Ты ведь арестант? А я здесь в гостях — у губернатора. Хочешь, чтобы я крикнул полицейского? А нет, так слушай, что тебе говорят. Поди сюда.

Вот, наконец, воля Божия. Священник подошел с ведром к метису и остановился у его плоской босой ноги; метис пригляделся к нему из тени, падавшей от стены, и быстро, испуганно проговорил:

— Ты что здесь делаешь?

— Убираю.

— Не понимаешь, о чем я спрашиваю?

— Меня поймали с бутылкой бренди, — сказал священник, стараясь придать грубость голосу.

— Я тебя знаю. — сказал метис. — Сначала глазам своим не поверил, но как только ты заговорил...

— По-моему, мы с тобой не...

— Тот самый священник и голос тот самый. — с отвращением сказал метис. Он был как собака иной породы: не мог, чтобы не ошетиниться. Его толстый большой палец угрожающе задвигался. Священник поставил ведро. Чтобы отделаться от метиса, он вяло сказал:

— Ты пьян.

— Пиво, пиво. — сказал тот. — Одно пиво. Обещали все самое лучшее, да разве им можно верить? Будто я не знаю, что свое бренди хефе держит под замком.

— Мне надо вылить ведро.

— Посмей сделать шаг, я крикну... Столько всего надо обдумать! — горько пожаловался метис. Священник стоял и ждал — что ему еще оставалось делать? Он полагался на милость этого человека. Какая глупая фраза. Будто его малярийные глаза знают, что такое милосердие. Но по крайней мере не надо будет унижаться, умолять.

— Видишь ли, какое дело, — начал растолковывать ему метис. — Мне здесь неплохо. — Его желтые пальцы блаженно скрючились у кучи блевотины. — Еда хорошая, пиво, компания, и крыша не протекает. Что будет дальше, можешь не говорить — меня вышвырнут как собаку, как собаку. — Голос у него стал резкий, негодующий. — Почему тебя посадили? Вот что я хочу знать. Что-то мне подозрительно. Мое дело или не мое дело поймать тебя? А если ты уже здесь, кто получит вознаграждение? Хефе, конечно, или этот прохвост сержант. — Он хмуро задумался: — Никому теперь верить нельзя.

— Есть еще краснорубашечник, — сказал священник.

— Краснорубашечник?

— Он меня и поймал.

— Матерь Божия! — сказал метис. — И губернатор со всеми с ними считается. — Он умоляюще поднял глаза на священника. Он сказал: — Ты образованный человек. Посоветуй мне что-нибудь.

— Это смертный грех, все равно как убийство.

— Я не про то. Я про вознаграждение. Понимаешь, пока они ничего не знают, мне здесь будет хорошо. Надо же человеку отдохнуть две-три недельки. И ведь далеко ты не убежишь? Мне надо поймать тебя где-нибудь в другом месте. Скажем, в городе. Чтобы никто другой не выдал себя за поимщика. Бедняку над стольким приходится ломать голову, — добавил он с досадой.

— По-моему, — сказал священник, — тебе даже здесь кое-что перепадает.

— Кое-что, — сказал метис, усаживаясь у стены поудобнее. — А мне надо все.

— Что здесь происходит? — сказал сержант. Остановившись в дверях на ярком солнце, он заглянул в камеру.

Священник медленно проговорил:

— Он хочет, чтобы я убрал его блевотину, а я говорю, вы велели мне только...

— Он у нас гость, — сказал сержант. — С ним надо повежливее. Раз просит, так убери.

Метис глупо ухмыльнулся. Он сказал:

— А как насчет бутылки пива, сержант?

— Рано тебе еще, — сказал сержант. — Сначала обыщи город.

Священник взял ведро и пошел через двор, а те двое продолжали препираться. У него было такое ощущение, будто в спину ему нацелена винтовка. Он вошел в уборную, вылил ведро, потом снова вышел на яркий свет — теперь винтовка целилась ему в грудь. Сержант и метис разговаривали, стоя в дверях камеры. Он перешел двор; они не спускали с него глаз. Сержант сказал метису:

— Ты говоришь, у тебя желчь разлилась и глаза с утра не глядят. Так вот, сам убери свою блевотину. Раз ты от своего дела отказываешься... — Метис хитро, но неуверенно подмигнул из-за спины сержанта. Теперь, когда минутный страх прошел, священнику стало жалко себя. Бог принял решение. Он снова должен жить, снова что-то решать, изворачиваться, предпринимать что-то по своему усмотрению...

У него ушло еще полчаса на то, чтобы закончить уборку и вылить на пол каждой камеры по ведру воды. Он видел, как набожная женщина исчезла словно навсегда под аркой ворот, где ее ждала сестра с деньгами для штрафа. Обе они были закутаны в черные шали, как вещи, купленные на рынке, — какие-то твердые, сухие, подержанные. Потом он снова доложил сержанту, тот осмотрел камеры, покритиковал его работу, велел вылить еще воды на пол и вдруг, наскучив всем этим, сказал, чтобы он пошел к хефе за разрешением на выход. Ему пришлось просидеть еще час на скамейке у двери хефе, глядя на караульного, который лениво прохаживался взад-вперед под палящим солнцем.

А когда наконец полицейский ввел его в помещение, за столом там сидел не хефе, а лейтенант. Священник остановился неподалеку от своей фотографии на стене и стал ждать. Он пугливо бросил мимолетный взгляд на помятую газетную вырезку и с чувством облегчения подумал: теперь я не очень похож. Какой он, наверно, был несносный в те годы — несносный, но все же более или менее чистый нравственно. Вот еще одна тайна: иногда ему кажется, что грехи простительные — нетерпение, мелкая ложь, гордыня, упущенные возможности творить добро — отрешают от благодати скорее, чем самые тяжкие грехи. Тогда, пребывая в своей чистоте, он никого не любил, а теперь, греховный, развращенный, понял, что...

— Ну, — сказал лейтенант, — убрал он камеры?

Он не поднял глаз от лежавших перед ним бумаг. Он сказал:

— Передай сержанту, что мне нужен отряд в двадцать пять человек и чтобы винтовки у них были вычищены. Даю на это две минуты. — Он рассеянно взглянул на священника и сказал:

— Чего ты ждешь?

— Разрешения, ваше превосходительство, на выход.

— Я не превосходительство. Называй вещи своими именами. — Он резко проговорил: — Ты здесь сидел раньше?

— Нет, никогда.

— Твоя фамилия Монтес. За последнее время мне столько этих Монтесов попадалось. Твои родственники? — Он пристально смотрел на священника; память его, видно, начала работать.

Священник торопливо ответил:

— Моего двоюродного брата расстреляли в Консепсьоне.

— Я тут ни при чем.

— Да нет... я хотел сказать, что мы с ним очень похожи. Наши отцы были близнецами. Мой старше всего на полчаса. Я думал, что ваше превосходительство...

— Насколько мне помнится, тот был совсем другой. Высокий, худощавый, узкий в плечах.

Священник торопливо сказал:

— Может, только родные замечали сходство...

— Правда, я видел его всего один раз. — У лейтенанта словно совесть была беспокойна, его смуглые руки теребили бумаги на столе. Он задумался... Потом спросил: — Куда ты пойдешь отсюда?

— Бог весть.

— Все вы на один лад. Не понимаете, что Богу ничего не ведомо. — Какая-то крошечная капелька жизни, точно соринка, скользнула по лежавшим на столе бумагам: он прижал ее пальцем. — Заплатить тебе штраф нечем? — И стал следить, как другая соринка выбралась из-под листка бумаги и поползла, ища спасения. В этом зное жизнь не прекращалась ни на секунду.

— Нечем.

— На что же ты будешь жить?

— Может, найду работу...

— Где тебе работать? Ты уже стареешь. — Он вдруг сунул руку в карман и вынул монету в пять песо. — Вот, — сказал он. — Уходи отсюда и больше мне не попадайся. Запомни это.

Священник зажал монету в кулаке — столько стоит заказная месса. Он удивленно проговорил:

— Вы хороший человек.

#### 4

Было еще совсем рано, когда он переплыл реку и, мокрый до нитки, выбрался на противоположный берег. Он никого не рассчитывал встретить здесь в такой ранний час. Домик, крытый железом сарай, флагшток. Ему казалось, что на закате все англичане спускают флаг и поют «Боже, храни короля». Он осторожно обогнул угол сарая, и дверь подалась под его рукой. Он очутился в темноте — там, где был и в тот раз. Сколько недель назад? Он не знал. Помнил только, что до начала

дождей было еще далеко, а теперь они уже начинаются. Через неделю пересечь горы можно будет только на самолете.

Священник пошарил вокруг себя ногой; ему так хотелось есть, что он был бы рад и двум-трем бананам. — он не ел уже два дня, — но бананов здесь не нашлось, ни одного. Наверно, весь урожай отправили вниз по реке. Он стоял в дверях сарая, стараясь припомнить, что девочка говорила ему — про азбуку Морзе, про свое окно. За мертвой белизной пыльного двора на москитной сетке блестело солнце. Тут все как будто в пустом чулане, подумал он и стал с беспокойством прислушиваться. Нигде ни звука. День здесь еще не начинался — ни первых сонных шлепаний туфель по цементному полу, ни поскребывания когтей потянувшейся собаки, ни стука пальцев в дверь. Здесь никого не было — ни души.

А который час? Сколько прошло с рассвета? Ответить на это было невозможно: время как резина, оно растягивается до предела. А может, уже не очень рано — шесть, семь?.. Он вдруг понял, какие у него были надежды на эту девочку: она единственная могла помочь ему, не подвергая себя опасности. Если не перейти через горы в ближайшие дни, тогда ему конец. Тогда надо было самому явиться с повинной в полицию. Как пережить сезон дождей: ведь никто не осмелится дать пищу и кров беглецу. Все бы кончилось лучше и быстрее, если бы неделю назад в полицейском участке узнали, кто он такой. И тревог было бы меньше. Он услышал какие-то звуки — царапанье и жалобное повизгивание; надежда несмело возвращалась к нему. Вот это и есть то, что называют рассветом, — заговорила жизнь. Стоя в дверях сарая, он жадно ждал.

И жизнь появилась — это была сука, тащившаяся по двору; уродливая, с опущенными ушами, она, скуля, волочила за собой то ли раненую, то ли перебитую ногу. Что-то неладное было у нее и со спиной. Она еле передвигалась; ребра у нее выступали, как у экспоната в зоологическом музее; она явно не ела много дней — ее бросили.

Но в противоположность ему в ней еще теплилась надежда. Надежда — инстинкт, убить который может только человеческий разум. Животному неведомо отчаяние.

Глядя, как она тащится, он понял, что она проделывает это постоянно, может, уже не первую неделю; этим начинается каждый новый день, как пением птиц начинается рассвет в краях более счастливых. Собака подтащилась к веранде и, как-то странно распластавшись на полу, уткнулась носом в дверную щель и стала скрести лапой. Словно принюхивалась к непривычному запаху пустых комнат; потом вдруг нетерпеливо взвизгнула и забила хвостом, будто ей послышалось какое-то движение в доме. И завывала.

Священник не мог больше это вынести; все было ясно, но надо увидеть самому. Он пошел по двору, и собака, с трудом перевернувшись, — какая пародия на сторожевого пса! — залаяла на него. Ей не просто кто-нибудь был нужен; ей нужно было привычное; ей нужно было, чтобы вернулся прежний мир.

Священник заглянул в окно — может, это комната девочки? Оттуда все было вынесено — остались только нестоящие или поломанные вещи. Набитая рваной бумагой картонная коробка и маленький стульчик без одной ноги. В оштукатуренной стене торчал большой гвоздь, на котором висело, может быть, зеркало или картина. Валялся сломанный рожок для обуви.

Сука с рычаньем тащилась по веранде. Инстинкт — как чувство долга, очень легко принять его за верность. Чтобы не столкнуться с ней, священник шагнул на солнцепек; она не смогла сразу повернуться и пойти за ним. Он тронул дверь — дверь отворилась, ее даже не потрудились запереть. На стене висела старая шкура аллигатора, неумело снятая и плохо высушенная. Сзади послышалось сопение, и он оглянулся: сука переступила передними лапами через порог, но теперь, когда он утвердился в доме, она не препятствовала ему. Он завладел им, он хозяин, а ее занимали разные запахи.

Она перевалилась через порог, пригнувшись мокрым носом.

Священник отворил дверь налево — это, наверно, спальня: в углу горка пузырьков из-под лекарств; в некоторых остались тоненькие потеки ядовито-яркой жидкости. Тут были средства от мигрени, от боли в желудке, пилюли, которые надо принимать после еды и до еды. Наверно, кто-то здесь тяжело болел, если понадобилось столько лекарств. Вот гребенка, сломанная, и комок вычесанных волос, очень светлых и уже тронутых пыльной сединой. Он с облегчением подумал: это ее мать, конечно, ее мать.

Он зашел в другую комнату, из которой сквозь москитную сетку на окне виднелась медлительная, пустынная река. Это была их гостиная, потому что здесь стоит стол — складной ломберный столик из фанеры, ценой, наверно, в несколько шиллингов; его не стоило увозить с собой, куда бы они ни уехали. Может быть, мать умерла? — подумал он. Может быть, они собрали урожай и перебрались в город, где есть больница. Он зашел еще в одну комнату; вот ее он и видел со двора — это комната девочки. С грустью, но и с любопытством он высыпал на пол содержимое корзины для бумаг. У него было такое чувство, будто он занимается разборкой вещей после чьей-то смерти, решая, что может остаться, не причиняя тебе боли.

Он прочел: "Непосредственным поводом к Американской войне за независимость послужил эпизод, получивший название «Бостонское чаепитие». Это, видимо, был обрывок какой-то ученической работы; буквы были крупные, четкие. «Но истинная суть дела (слово „истинная“ было написано неправильно, зачеркнуто и переписано заново) заключалась в том, что несправедливо облагать налогом людей, которые не имеют своего представителя в парламенте». Судя по множеству помарок, это, вероятно, был черновик. Он взял наугад другой клочок бумаги — там про каких-то «виггов и тори» [партии английского парламента, оформившиеся в 1679 г.; виги отражали интересы формирующейся буржуазии и протестантских кругов, тори — аристократов, ориентированных на католическую церковь]; эти слова были непонятны ему. С крыши во двор упало что-то вроде метелки из перьев — стервятник. Он стал читать дальше: «Если пятерым косцам понадобилось три дня, чтобы скосить луг в пять с четвертью акров, сколько скосят за день двое косцов?» Под задачей была проведена по линейке ровная черта, потом шли арифметические действия — полная неразбериха цифр, из которых ответа не получалось. В смятой, брошенной в корзину бумаге угадывались жара и раздражение. Он ясно представил себе, как она решительно разделалась с этой задачей, — четко очерченное лицо и две жидкие косички за спиной, — вспомнил, с какой готовностью она поклялась в вечной ненависти к тем, кто обидит его, вспомнил и свою дочь, которая ластилась к нему у мусорной кучи.

Он плотно прикрыл за собой дверь, словно предотвращая чье-то бегство из этой комнаты. Собака зарычала, и он пошел на ее голос туда, где раньше была кухня. Оскалив свои старые зубы и точно подыхая, собака припала к кости. За москитной сеткой показалось лицо индейца, будто подвешенное там проявиться, — темное, сухое, неприятное. Его глаза с завистью смотрели на кость. Он взглянул на священника и тут же исчез, словно его и не было, и дом снова опустел. Священник тоже посмотрел на кость.

На ней еще было много мяса; возле собачьей морды вились мухи, и теперь, когда индеец исчез, собака уставилась на священника. Все втроем они посягали на эту кость. Священник сделал шаг и топнул два раза.

— Пшла! — сказал он. — Пшла! — и взмахнул руками, но дворняга продолжала лежать, распластавшись над костью. Воля к жизни, не угасшая в ее желтых глазах, кипела между зубами. Это была сама ненависть на смертном одре. Священник осторожно ступил вперед; он все еще не осознал, что собака не в состоянии прыгнуть на него — собаку всегда представляешь себе в движении, но эта, как всякий калека, могла только думать. Собачьи мысли, рожденные голодом, надеждой и ненавистью,



были у нее в зрачках.

Священник протянул руку, и мухи с жужжанием разлетелись; собака настороженно молчала.

— Собачка, собачка, — заискивающе сказал священник; он ласково пошевелил пальцами — она не сводила с него глаз. Тогда священник повернулся и отошел в сторону, будто отказавшись от кости; он тихонько затянул какое-то песнопение из церковной службы; он делал вид, что не интересуется костью. И вдруг крутой поворот — нет, не помогло: собака следила за ним, вывернув шею, чтобы не упустить ни одного его коварного движения.

Он пришел в ярость: эта сука с переломанной спиной завладела единственным, что здесь было съедобного! Он выругался — словами, услышанными где-нибудь у подмостков для оркестра. В другое время его удивило бы, что они так легко сорвались у него с языка. И вдруг рассмеялся: вот оно, человеческое достоинство — спорить с собакой из-за кости. Услышав его смех, собака опасно прижала дрогнувшие кончиками уши. Но ему не было жалко ее — эта жизнь ничто по сравнению с жизнью человеческого существа. Он искал глазами, чем бы швырнуть в нее, но в кухне почти ничего не было, кроме кости. Может статься, — кто знает? — кость нарочно оставили здесь для несчастной дворняги. Девочка могла подумать об этом, уезжая отсюда с больной матерью и глупым отцом. У него осталось впечатление, что именно она брала на себя все заботы по дому. И так, ничего подходящего, кроме дырчатой проволочной сетки для овощей, не нашлось.

Он снова подошел к собаке и легонько стукнул ее по морде. Она куснула сетку своими старыми, сточенными зубами, но не двинулась с места. Он ударил ее сильнее, она вцепилась в проволоку — ему пришлось рвануть сетку на себя. Удар следовал за ударом, пока наконец священник не понял, что собаке стоило бы огромных усилий сдвинуться с места. Она не могла ни увернуться от его побоев, ни оставить кость. Ей приходилось терпеть, и она терпела, сверкая на него желтыми, затравленно-злыми глазами.

Тогда он решил действовать по-другому: проволочная сетка стала чем-то вроде намордника, которым он защитился от собачьих зубов, и схватил кость. Одна лапа прижала ее, но тут же отпустила. Он бросил сетку и отскочил назад. Собака попыталась кинуться за ним, но упала на пол. Победа осталась за священником: кость была у него в руке. Собака даже на зарычала.

Священник оторвал зубами кусок и стал жевать сырое мясо. В жизни ему не доводилось есть ничего вкуснее, и теперь, наслаждаясь едой, он пожалел собаку. Он подумал: вот столько съем, а остальное отдам ей. Он сделал мысленную отметку на кости и снова рванул зубами. Тошнота, мучившая его долгие часы, начала исчезать, оставляя после себя просто чувство голода; он ел и ел, а собака следила за ним. Теперь, когда их распря кончилась, она, видимо, смирилась; ее хвост начал вопрошающе, с надеждой постукивать по полу. Священник дошел до своей отметки, но ему показалось, что голод, который он чувствовал до этого, был у него только в воображении, а вот сейчас — настоящий. Человеку нужно больше, чем собаке; он оставит вот этот последний кусочек. Но он съел и его — в конце концов у собаки есть зубы, она сгложет и кость. Он бросил ее собаке под нос и вышел из кухни.

Он еще раз обошел пустые комнаты. Сломанный рожок для обуви, пузырьки из-под лекарств, сочинение об Американской войне за независимость — ничто не могло сказать ему, почему они уехали. Он вышел на веранду и сквозь дыру в половице увидел, что на земле между кирпичными столбиками, которые предохраняли дом от муравьев, валяется книга. Как давно он не видал книг! Эта книга, потихоньку плесневевшая под верандой, была как обещание, что все обойдется и прежняя жизнь будет идти своим чередом в городских домах с радиоприемниками и книжными шкапами, с постелями, постланными на ночь, и скатертью на обеденном столе. Он опустил на колени, и достал книгу, и вдруг понял, что, когда эта долгая борьба кончится и он перейдет через горы, через границу штата, жизнь еще может порадовать его.

Книга была английская, но, проучившись несколько лет в американской семинарии, он знал язык настолько, чтобы кое-как прочитать, что тут написано. И даже если он ничего не поймет, все равно, это же книга. Она называлась «Жемчужины английской поэзии», а на форзаце была наклейка с отпечатанным текстом: «В награду...» и от руки чернилами: «Корал Феллоуз за отличные сочинения. Третий класс». Под надписью какой-то герб, кажется с грифоном и дубовым листком, латинский девиз: «Virtus Laudata Crescit», а ниже факсимиле: "Генри Бекли, бакалавр гуманитарных наук, директор курсов «Домашнее обучение».

Священник сел на ступеньки веранды. Кругом была тишина — ни признака жизни на заброшенной банановой плантации, один лишь стервятник, еще не потерявший надежды. Индейца будто и вовсе не было. После обеда, с невеселой улыбкой подумал священник, можно немножко почитать — и наугад открыл книгу. Корал — вот как ее зовут. Магазины Веракруса полны твердых ломких кораллов, которые почему-то принято дарить девочкам после их первого причастия. Он прочел:

*Я с горных высей струйкой льюсь,  
Где вяхири и цапли,  
И вдруг в сторонку увернусь,  
Журча за каплей капля.*

[А.Теннисон (1809-1892), «Ручей»]

Стихотворение было непонятное — слова звучали будто на эсперанто. Он подумал: так вот она, английская поэзия, — какая-то странная. В тех немногих стихах, которые он учил, говорилось о муках, раскаянии и надежде. Эти же кончались на философской ноте: «Приходят люди и уйдут, а я пребуду вечно». Банальность и ложность последних слов «пребуду вечно» резнула его. Такие стихи не для детского чтения. Стервятник — пыльный, бесприютный — ковылял по двору; время от времени он лениво взлетал и, хлопая крыльями, снова садился на землю шагах в пятидесяти от того места, где взлетел. Священник прочитал:

*— Вернись, вернись, — молил отец,  
Страданий не тая.  
— Ты мой птенец, ты мой птенец,  
Вернись, о дочь моя!*

[Т.Кэмпбелл (1777-1844), «Дочь лорда Уллина»]

Эти строки произвели на него большое впечатление, хотя они тоже не годились для детей. В звуках чужого языка ему слышалось неподдельное чувство, и, сидя в одиночестве на залитой солнцем узенькой ступеньке, он повторял про себя последние слова: «О дочь моя! О дочь моя!» Тут было все, что он чувствовал сам, — раскаяние, тоска и несчастная родительская любовь.

Как странно, что после ночи в душной и переполненной до отказа тюремной камере он попал в эти пустынные места — будто успел умереть там, когда голова старика лежала у него на плече, и теперь блуждает в преддверии ада, ибо в нем мало добра, но столь же мало и зла... Жизни больше не было — не только на банановой плантации. Разразилась гроза, и когда он искал, где спрятаться, ему стало ясно, что все кругом мертво.

При вспышке молний хижины ходили ходуном, на миг вырывались из темноты и тут же снова исчезали в грохочущем мраке. Дождь еще не обрушился на них, он шел сплошной пеленой от залива Кампече, захватывая весь штат своей размеренной поступью. Когда раскаты грома затихали, священнику казалось, будто он слышит эту поступь, этот оглушительный шорох, надвигающийся на горы, которые были уже так близко — в каких-нибудь двадцати милях отсюда.

Он добежал до первой хижины; дверь ее стояла нараспашку, и когда молния сверкнула зигзагом, он, как и ожидал, увидел, что там никого нет: только грома кукурузных початков, и метнулось что-то серое — наверно, крыса. Он кинулся к соседней, но там тоже кукуруза — и больше ничего. Жизнь точно отступила перед ним, точно кто-то решил, что отныне он будет один — совсем один. Пока он стоял там, дождь добрался до просеки, вышел из лесу густым, белым дымом и двинулся дальше. Будто враг выпустил удушливый газ на поле битвы с таким расчетом, чтобы никто не уцелел. Дождь занял все вокруг и лил столько, сколько нужно: враг с хронометром в руке рассчитал до секунды выносливость человеческих легких. Крыша недолго удерживала дождевые потоки и вскоре подалась; сучья прогнулись под тяжестью воды и разъехались в стороны; темные струи хлынули вниз сразу в нескольких местах. Затем ливень прекратился, с крыши уже только капало, гроза ушла дальше, и молнии сверкали по ее флангам, как заградительный огонь. Через несколько минут она дойдет до горной цепи; еще две-три такие грозы, и горы будут непроходимы.

Он очень устал за целый день хольбы и, найдя сухое место, опустился на пол. При вспышке молний ему была видна просека; вокруг мягко постукивали падающие с деревьев капли. Это было как покой, хоть и не совсем покой. Для того чтобы наслаждаться покоем, рядом нужны люди, а его одиночество таило новые беды. Ему вдруг вспомнилось, неизвестно почему: американская семинария, дождливый день, работает паровое отопление, и окна библиотеки запотели; вокруг высокие шкафы с благочестивыми книгами, и молодой семинарист родом из Таскона выводит пальцем на стекле свои инициалы. Вот тогда был покой. Сейчас он смотрит на это со стороны; вряд ли его снова ждет такая жизнь. Он сотворил свой мир сам — и вот он: пустые, развалившиеся хижины, гроза, уходящая вдаль, и опять страх — страх потому, что он все-таки не один здесь.

За дверью слышалось осторожное движение. Шаги то приближались, то останавливались. Священник безвольно ждал, что будет дальше, а позади него капало с крыши. Он представил себе, как метис бродит по городу, выискивая удобный случай, чтобы выдать его. В дверях показалось чье-то лицо и вмиг исчезло — лицо старухи, но кто их знает, этих индейцев, может быть, ей не больше двадцати лет. Он встал и вышел из хижины — женщина в грубой юбке, висевшей на ней мешком, с черными, тяжело раскачивающимися за спиной косами побежала прочь. Его одиночество, видимо, только и будут нарушать такие вот неуловимые существа — какие-то выходцы из каменного века, которые появлялись и тут же исчезали.

В нем загорелась угрюмая злоба — она-то зачем убегает! Шлепая по лужам, он погнался за ней по просеке, но она была ближе его к лесу и преспокойно скрылась среди деревьев. Искать ее там было бесполезно, он вернулся назад и вошел в ближайшую хижину — не в ту, где прятался от дождя. Здесь тоже было пусто. Куда девались люди? Он знал, что в таких более или менее диких поселках живут неподалеку. Индейцы обрабатывают небольшой участок земли, а когда почва истощится, просто уходят на другое место, не имея понятия о севообороте. Но урожай кукурузы они уносят с собой. Отсюда, похоже, бежали, спасаясь от какой-то опасности или от болезни. Ему приходилось слышать о таких бегствах, когда в поселке разражалась эпидемия, и самое страшное было, конечно, то, что эти люди уносили болезнь с собой, куда бы ни ушли; иногда они впадали в панику и бились, как мухи о стекло, но тайком, пряча свое смятение от чужих глаз. Он снова бросил хмурый взгляд на просеку: индеанка пробиралась к хижине, к той, что укрывала его от дождя. Он крикнул, и она, спотыкаясь, побежала назад к лесу. Неуклюжие движения женщины напоминали ему полет птицы, притворяющейся, будто у нее сломано крыло. Он не стал гнаться за ней, и, не добежав до деревьев, она остановилась и посмотрела на него. Он медленно пошел к ближайшей хижине, обернулся на ходу: женщина следовала за ним, держась на расстоянии, не сводя с него глаз. И ему снова показалось, что в ней есть что-то от испуганного зверя или птицы. Он шел прямо к хижине — где-то далеко впереди сверкнула молния, но грома не было слышно; небо светлело, из-за туч показалась луна. Вдруг сзади раздался какой-то странный крик, и, оглянувшись, он увидел, как женщина побежала к лесу, споткнулась, взмахнула руками и упала на землю — птица приносила себя в жертву.

Тогда он понял, что в этой хижине есть какая-то ценность, может быть, зарытая в кукурузе, и, не обращая внимания на женщину, вошел туда. Молнии вспыхнули теперь далеко, и, ничего не видя в темноте, он ощупью добрался до кукурузы. Шаги, шлепающие по лужам, послышались ближе. Он стал шарить в кукурузе — может, там спрятана какая-нибудь еда, — и сухой шорох листьев смешался со звуком падающих капель и с осторожными шагами за стенкой, точно кто-то тихонько занимался своими делами. И тут рука его коснулась чьего-то лица.

Такое было уже не страшно ему: его пальцы тронули что-то человеческое. Они ощупали все тельце — тельце ребенка, даже не шелохнувшегося у него под рукой. Луна бросала неясный блик на лицо женщины в дверях. Она, вероятно, была едва жива от страха... но по ее лицу судить трудно. Он подумал: надо вынести его отсюда, посмотреть, что с ним.

Это был мальчик лет трех; кожа да кости, круглая голова с лохмами черных волос; без сознания, но еще живой; слабенькое биение в груди. Он опять подумал — не болезнь ли какая, но, отняв руку от тельца, убедился, что на ней не пот, а кровь. Ужас и отвращение охватили его: всюду насилие, придет ли конец насилию? Он резко спросил женщину:

— Что случилось? — Казалось, во всем этом штате один человек полностью зависит от произвола другого человека.

Женщина опустила на колени в двух-трех шагах от него и смотрела ему на руки. Она, видимо, немного знала по-испански, потому что ответила:

— Americano. — На ребенке была темная рубашончка; священник заголил ее до шеи: три огнестрельные раны. Жизнь медленно уходила из жалкого тельца; теперь ему уже ничем не поможешь, но надо попробовать... Он сказал женщине:

— Воды. Воды. — Но она не поняла и не двинулась с места, глядя ему на руки. Как легко ошибиться, считая, что раз глаза ничего не выражают, значит, нет и горя. Коснувшись ребенка, он увидел, как она подалась вперед, готовая броситься на него, вцепиться в него зубами, если бы ребенок только застонал.

Он заговорил медленно, ласково, но зная, сколько она поймет:

— Надо принести воды. Смыть кровь. Не бойся меня. Я не сделаю ему ничего плохого. — Он снял с себя рубашку и стал рвать ее на полосы. Это было антисанитарно, а что поделаешь? Можно, конечно, прочесть молитву, но жизнь, вот эту жизнь, не вымолишь. Он снова повторил: — Воды. — Женщина, кажется, поняла, что от нее требуется, и растерянно посмотрела на дождевые лужи — больше воды нигде не было. Ну что ж, подумал он, земля не грязнее любого сосуда. Он намочил полосу, оторванную от рубашки, и нагнулся над ребенком. Женщина подвинулась ближе — в этом движении была угроза. Он снова попробовал успокоить ее: — Не бойся меня. Я священник.

Слово «священник» женщина поняла. Она подалась вперед, схватила руку с мокрой тряпицей и поцеловала ее. В тот миг, когда губы женщины прильнули к его руке, по лицу ребенка пробежала судорога, глаза открылись и пристально посмотрели на них, крошечное тельце свело нестерпимой болью, а потом глаза закатились и застыли, как стеклянные шарики в детской игре. — желтые, страшные, мертвые. Женщина отпустила его руку и подползла к луже, сложив пальцы ковшиком, чтобы зачерпнуть воды. Священник сказал:

— Теперь уже не нужно, — и выпрямился, держа в руках мокрые тряпки. Женщина разжала пальцы, и вода вылилась на землю. Она умоляюще проговорила:

— Отец! — И он устало опустился на колени и начал молиться.

Молитвы казались ему теперь бессмысленными, другое дело — причастие: вложить его между губами умирающего — значит вложить ему Бога в уста. Это реальность — в ней есть что-то осязаемое.

а такая молитва всего лишь благочестивое вздыхание. Почему кто-то должен услышать его молитвы? Грех мешают им вознестись к небу. Ему казалось, что его молитвы непереваренной пищей лежат в нем и нет им выхода.

Кончив молиться, он поднял тело ребенка и, как вещь, отнес его в хижину. Зря выносили, точно стул, который вытаскиваешь в сад и тащишь обратно, потому что трава мокрая. Женщина покорно пошла за ним — она не дотронулась до своего сына, просто смотрела, как священник кладет его в темноте на ворох кукурузы.

Он сел на земляной пол и медленно проговорил:

— Надо похоронить.

Это она поняла и кивнула головой.

Священник спросил:

— Где твой муж? Он тебе поможет?

Она быстро заговорила — должно быть, на языке камачо; он понял только отдельные испанские слова. Вот опять она сказала «Americano», и ему вспомнился преступник, фотография которого висела в полиции рядом с его собственной. Он спросил:

— Это он убил? — Она замотала головой. Что же случилось? — подумал он. Неужели американец спрятался здесь и солдаты стреляли по хижинам? Очень может быть. Внезапно он насторожился: женщина назвала ту банановую плантацию. Но там не было умирающих, там не было ни малейших признаков разбоя — разве только тишина и бегство ее хозяев говорили о беде. Он подумал, что заболела мать, но, может, стряслось что-нибудь похуже? Может быть, этот тупица капитан Феллоуз снял ружье со стены и вышел с таким неспорым оружием на человека, главный талант которого заключался в быстроте реакции и в умении стрелять прямо из кармана? А бедная девочка... какую ответственность, может быть, пришлось ей взвалить на себя!

Он отогнал эту мысль и спросил:

— Лопата у тебя есть? — Она не поняла вопроса, и он показал ей, как роют землю. Раздался новый раскат грома; надвигалась вторая гроза, точно враг узнал, что после обстрела кое-кто остался в живых, и теперь намерен добить уцелевших. Опять ему послышалось идущее издалека могучее дыхание дождя. Он уловил, что женщина говорит про церковь. У нее было в запасе несколько испанских слов. Что она хочет сказать? — подумал он. Но тут хлынул дождь. Дождь стеной стал между ним и спасением, обрушился на них глыбой, замкнул их в себе. Луна спряталась, и только вспышки молний освещали темноту.

Такого дождя крыша не могла выдержать, он лил сквозь нее, сухие кукурузные листья, на которых лежал мертвый ребенок, потрескивали, как горящие сучья. Он дрожал от холода — может быть, это начинается лихорадка? Надо уходить отсюда, пока еще у него есть силы. Женщина, невидимая в темноте, снова умоляюще проговорила:

— Iglesia [церковь (исп.)]. — Наверно, ей хочется похоронить ребенка у церкви или только поднести его к алтарю, чтобы он коснулся ног Христа. Безумная мысль!

При вспышке молнии, озарившей все вокруг голубым светом, он развел руками, показывая ей всю невозможность этого, и сказал:

— Солдаты. — Но она тут же ответила:

— Americano! — Это слово все время возникало в ее речи, будто в нем было много значений, и только интонация позволяла понять, о чем она говорит, — поясняет, предостерегает, таит угрозу.

Может, она хотела сказать, что солдаты заняты поисками преступника? Так или иначе дождь все погубил. До границы как было, так и осталось двадцать миль, но после грозы горные тропы будут, наверное, непроходимы... А церковь? Он не имел ни малейшего понятия, где найти церковь. Уже долгие годы ему не приходилось видеть их. Трудно поверить, что в нескольких днях пути отсюда где-то есть церковь. При вспышке молнии он увидел, что женщина с несокрушимым терпением смотрит на него.

Последние тридцать часов они ели только сахар — большие коричневые куски величиной с детскую голову: никого не видели, не сказали друг другу ни слова. А зачем говорить, когда общий язык их состоял всего лишь из двух слов: «Iglesia» и «Americano»? Женщина шла за ним по пятам с мертвым ребенком, привязанным у нее за спиной. Она, должно быть, не знала, что такое усталость. Через сутки они вышли из болот в предгорье, спать устроились на высоком берегу медленно текущей зеленой реки, найдя среди моря грязи сухое место под выступом скалы. Женщина сидела, подтянув колени, опустив голову; она не проявляла никаких чувств, но труп ребенка лежал у нее за спиной, точно его надо было охранять от мародеров, как всякое имущество. Держась по солнцу, они шли до тех пор, пока поросшая темным лесом горная гряда не указала им, куда должен лежать их путь. Подобно последним оставшимся в живых людям умирающего мира, они несли на себе четкую печать конца.

Иной раз священнику начинало казаться, что он уже в безопасности, но если видимых границ между штатами нет — ни паспортного пункта, ни таможни, — опасность не отстанет и будет брести за тобой, тяжело ступая по твоим следам. Продвигались они медленно: тропа то круто подымалась футов на пятьсот, то снова уходила вниз сплошным месивом грязи. Раз она сделала огромный поворот, так что через три часа они очутились ярдах в ста от того места, где он начинался.

К вечеру второго дня они вышли на широкое плато, заросшее невысокой травой; в вечернем небе чернел причудливый лес крестов, склонившихся под разными углами, — некоторые высотой футов в двадцать, другие не выше восьми. Кресты были похожи на пущенные в рост деревья. Священник остановился, с удивлением глядя на них. Это были первые, открыто стоявшие на виду символы христианства, с которыми ему пришлось столкнуться за последние пять лет, — если только на пустынном горном плато они будут у кого-нибудь на виду. Ни один священник не мог иметь отношения к столь странным, примитивным крестам. Это было индейское кладбище, и оно не вызывало в памяти ни опрятных церковных облачений, ни тщательно разработанной символики литургии. Казалось, кресты пришли сюда прямо из темной таинственной глубины веры, из мрака, где разверзаются могилы и пробуждаются мертвые. Он услышал шорох позади и оглянулся.

Женщина упала на колени и медленно ползла по жесткой земле к крестам; мертвый ребенок покачивался у нее за спиной. Добравшись до самого высокого креста, она отвязала ребенка, приложила его к дереву сначала лицом, потом спиной и перекрестилась, но не так, как обычно крестятся католики, а странным, сложным движением, включающим нос и уши. Неужели она ждет чуда? И если ждет, почему не даровать ей это чудо? — подумал священник. Сказано: вера движет горами, а она верит, верит в брание, исцелившее слепого, в голос, пробудивший мертвого. В небе зажглась вечерняя звезда; она низко висела над краем плато; до нее, казалось, можно было дотянуться рукой. Подул горячий ветерок. Священник поймал себя на том, что ждет, не шевельнется ли ребенок. Но он не шевельнулся. Господь упустил возможность совершить чудо. Женщина села и, вынув из своего узла комок сахара, стала грызть его, а ребенок неподвижно лежал у подножия креста. В конце концов, зачем Господу наказывать невинное дитя, воскрешая его к такой жизни?

— Vamos [пойдем (исп.)], — сказал священник, но женщина будто не слышала его и продолжала грызть сахар своими острыми передними зубами. Он взглянул на небо и увидел, что вечернюю звезду закрыли темные тучи. — Vamos. — Спрятаться от дождя на этом плато было негде.

Женщина не двинулась с места; ее угловатое, коротконосое лицо между двух черных кос было

совершенно бесстрастно: она выполнила свой долг и теперь могла вкушать вечный отдых. Священник вздрогнул: боль, будто твердым ободком шляпы весь день сдавливавшая ему лоб, пробралась глубже. Он подумал: надо укрыться где-нибудь — у человека есть долг перед самим собой, этому учит даже Церковь. Небо темнело; кресты торчали точно уродливые сухие кактусы. Он вышел на край плато и, прежде чем начать спуск, оглянулся: женщина все еще грызла сахар, и он вспомнил, что больше у них из еды ничего не было.

Тропа шла вниз очень круто — так круто, что ему пришлось спускаться по ней задом наперед; справа и слева из серых камней под прямым углом росли деревья, а в пятистах футах тропа снова уходила в гору. Священник вспотел, его мучила нестерпимая жажда. Хлынувший дождь принес ему сначала даже какое-то облегчение. Он прижался спиной к валуну; спрятаться было негде, а тратить силы на то, чтобы добраться до дна ущелья, не стоило. Дрожь теперь почти не прекращалась, но боль была уже не в голове, а где-то снаружи — повсюду: в шуме дождя, в мыслях, в запахах. Все его ощущения смешались. Вот боль стала нудным голосом, втолковывавшим ему, что он идет не по той тропе. Он вспомнил карту двух соседних штатов, которую видел когда-то. Штат, откуда он бежал, был усыпан деревушками — в знойных болотистых местах люди плодились, как москиты, но в соседнем, в северо-западном углу карты, почти ничего не было — чистая белая бумага. Теперь ты на этой чистой бумаге, сказала ему боль. Но ведь туда ведет тропинка, устало возразил он. Ах, тропинка! — сказала боль. По тропинке ты пройдешь миль пятьдесят, пока доберешься куда-нибудь. Тебя же не хватит на такое расстояние. Вокруг только белая бумага, и все.

Потом боль стала лицом. Он твердо знал, что американец следит за ним, — кожа у него вся в мелких точечках, как на газетной фотографии. Должно быть, он шел за ними всю дорогу, потому что хотел убить и мать ребенка тоже. Надо что-то делать; дождь висел как занавес, за которым могло случиться все что угодно. Он подумал: нельзя было бросать ее одну, да простит меня Бог. Нет у меня чувства ответственности за людей. Да чего же ждать от пьющего падре. И, с трудом поднявшись на ноги, он стал карабкаться назад, к плато. Мысли не давали ему покоя. Дело не только в женщине, отвечай и за американца. Два лица — его и убийцы — висели рядом на стене полицейского участка, точно портреты двух братьев в фамильной портретной галерее. Нельзя подвергать искушению брата своего.

Дрожа, обливаясь потом, насквозь промокший, он вышел на край плато. Там никого не было — мертвый ребенок не в счет, это просто ненужная вещь, брошенная к подножию креста; мать ушла домой. Она сделала все, что хотела сделать. Удивление прогнало лихорадку — прогнало на время, до следующего приступа. Маленький комоч сахара — все, что осталось, — лежал у рта ребенка... на случай если чудо произойдет или чтобы покормить отлетевший дух? Со смутным чувством стыда священник нагнулся и взял его; мертвый ребенок не зарычит, как рычала искалеченная собака. Но ему ли отвергать возможность чуда? Он помедлил, стоя под проливным дождем, потом положил сахар в рот. Если Господу будет угодно даровать жизнь ребенку, неужели же он не дарует ему и пищу?

Лишь только он начал есть, лихорадка вернулась; сахар застрял у него в горле, и снова появилась мучительная жажда. Нагнувшись, он стал лизать воду с бугристой земли и даже попробовал сосать свои промокшие штаны. Ребенок лежал под дождевыми струями как темная куча коровьего помета. Священник вернулся к краю плато и стал спускаться вниз по ущелью; он был совсем один теперь — даже лицо исчезло, один тащился по чистой белой бумаге, с каждым шагом уходя все дальше и дальше в пустынную страну.

Где-то там есть, конечно, города, и если идти все дальше и дальше, то дойдешь до побережья, до Тихого океана, до железной дороги в Гватемалу; там будут и шоссе и автомобили. Поезда он не видал уже десять лет. Он представил себе черную линию на карте, бегущую вдоль побережья, видел впереди пятьдесят, сто миль незнакомой страны. Вот по ней он и бредет сейчас; он слишком далеко ушел от людей. Природа убьет его.

И все-таки он шел вперед. Какой смысл возвращаться в опустевшую деревню или на банановую плантацию с издыхающей собакой и рожком для обуви? Оставалось одно: ступать одной ногой, потом другой, сползать вниз, карабкаться вверх. Когда дождь ушел дальше, он выбрался из ущелья и увидел перед собой только огромное неровное пространство, лес, горы и бегущую прочь серую вуаль дождя. Он взглянул в ту сторону и больше не стал смотреть. Это было все равно что вперять глаза в отчаяние.

Прошло часа три, прежде чем подъем кончился; был вечер, вокруг — лес. По деревьям неуклюже и лихо скакали невидимые глазу обезьяны, а вот это, должно быть, змеи, точно зажженные спички, с шипеньем скользят в траве. Он не боялся их: это была хоть какая-то жизнь, и она уходила от него все дальше и дальше. Он расставался не только с людьми, звери и гады и те убегали от него; скоро он останется наедине со своим дыханием.

Он стал читать про себя: «Господи! Возлюбил я великолепие дома Твоего».

Запах мокрых, гниющих листьев, душная ночь, темнота... Он в стволе шахты и спускается в глубину земли, чтобы похоронить себя. И скоро обретет могилу.

Когда человек с ружьем подошел к нему, он даже не пошевелился. Человек подходил с опаской: в глубине земли не ждешь встреч. Держа ружье наготове, он спросил:

— Ты кто?

Впервые за десять лет священник назвал себя незнакомцу по имени, потому что сил у него не было и жить тоже было незачем.

— Священник? — изумленно переспросил незнакомец. — Откуда вы?

Его снова лихорадило; он плохо понимал, что происходит. Он сказал:

— Не бойся. Я не принесу тебе беды. Я уйду. — Он собрал последние силы и пошел; озадаченное лицо проникло в его лихорадку и снова исчезло. — Заложников больше не будет, — успокоил он себя вслух. Шаги позади не отставали; он опасный человек, и незнакомец выпроваживает его со своего участка, прежде чем вернуться домой. Он громко повторил: — Не бойся. Я здесь не останусь. Мне ничего не надо.

— Отец... — проговорил голос, смиренно, взволнованно.

— Я сейчас уйду. — Он было побежал и вдруг очутился не в лесу, а на длинном, поросшем травой склоне. Внизу были огни, хижины, а здесь, на лесной опушке, — большое, оштукатуренное здание... Казармы? Там солдаты? Он сказал: — Если меня уже увидели, я сдамся. Даю тебе слово, из-за меня никто не пострадает.

— Отец...

Голова у него разламывалась от боли; он оступился и, чтобы не упасть, оперся рукой о стену. Во всем его теле была безмерная усталость. Он спросил:

— Это казармы?

— Отец... — недоумевающе, тревожно сказал голос. — Это наша церковь.

— Церковь? — Священник недоверчиво провел руками по стене, точно слепой, отыскивающий знакомый дом, но усталость ничего не давала ему почувствовать. Он услышал, как человек с ружьем бормочет где-то рядом:

— Такая честь, отец. Надо ударить в колокол... — И вдруг опустился на мокрую от дождя траву, откинул голову к белой стене и уснул, прижавшись лопатками к родимому дому.

Сон его был полон веселых, радостных звуков.



## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1

Пожилая женщина сидела на веранде и штопала носки; она была в пенсне, туфли с ног для удобства сбросила. Ее брат мистер Лер читал нью-йоркский журнал трехнедельной давности, но это особенного значения не имело. Тихая, мирная сценка.

— Пейте воду, — сказала мисс Лер. — Пейте сколько хотите.

В прохладном уголке веранды стоял огромный глиняный кувшин с ковшиком и стаканом.

— А вы не кипятите воду? — спросил священник.

— О нет, у нас вода свежая, чистая, — сухо проговорила мисс Лер, как бы не отвечая за то, что делается в других домах.

— Лучшая вода в штате, — сказал ее брат. Глянцевитые журнальные страницы с квадратными, чисто выбритыми, бульдожьими физиономиями сенаторов и конгрессменов похрустывали, когда он переворачивал их. За садовой изгородью, к горному кряжу, шла мягкая волнистая линия луга, а у калитки каждый день покрывалось цветами и каждый день теряло их тюльпанное дерево.

— Сегодня у вас совсем другой вид, отец. — сказала мисс Лер. Английская речь у брата и сестры была гортанная, с легким американским акцентом. Мистер Лер уехал из Германии юношей, чтобы не отбывать воинской повинности. Лицо у него было все в хитрых морщинках — лицо идеалиста. В этой стране без хитрости не проживешь, если хочешь сохранить хоть какие-нибудь идеалы; он изворачивался, охраняя свою добропорядочную жизнь.

— О-о, — сказал мистер Лер. — Отдохнуть несколько дней — вот все, что ему было нужно. — Он не проявлял никакого любопытства к этому человеку, которого его управляющий привез три дня назад на муле в полном изнеможении. Он знал о нем только то, что священник сам рассказал. Вот еще один урок, преподанный этой страной: никого ни о чем не спрашивай и не заглядывай вперед.

— Скоро я смогу уйти от вас, — сказал священник.

— Зачем торопиться? — сказала мисс Лер, вертя в руках носок брата в поисках дырок.

— Здесь так покойно.

— Ну-у! — сказал мистер Лер. — Неприятности нас не миновали. — Он перелистнул страницу журнала и сказал: — Это сенатор, Хирам Лонг, — его нужно бы одернуть. Оскорбления по адресу других государств до добра не доведут.

— А у вас не пробовали отобрать землю?

Лицо идеалиста повернулось к нему; на нем было написано невинное лукавство.

— Я отдал все, что от меня потребовали, — пятьсот акров пустоши. И сэкономил на налогах. Все равно там ничего не росло. — Он кивнул на подпорки веранды. — Вот то было настоящей неприятностью. Видите следы от пуль? Люди Вильи.

Священник снова встал и выпил еще один стакан воды; пить ему не так уж хотелось — приятно было понежиться в роскоши. Он спросил:

— А далеко отсюда до Лас-Касаса?

— Четыре дня пути, — сказал мистер Лер.

— В его-то состоянии! — сказала мисс Лер. — Шесть дней.

— Там мне все покажется таким странным, — сказал священник. — Город, где есть церкви, университет...

— Мы с сестрой лютеране, — сказал мистер Лер. — Мы не одобряем вашей Церкви, отец. Слишком много у вас роскоши, по-моему. А народ голодает.

Мисс Лер сказала:

— Ну что ты, милый! Отец тут ни при чем.

— Роскоши? — сказал священник. Он стоял возле глиняного кувшина со стаканом в руке, пытаюсь собраться с мыслями, и глядел на пологие мирные склоны, поросшие травой. — Вы считаете, что... — Может быть, мистер Лер и прав: ведь когда-то ему действительно жилось привольно, и теперь он снова готов погрузиться в праздность.

— В церквах повсюду позолота.

— Чаще всего это просто краска, — умиротворяюще пробормотал священник. Он думал: да, целых три дня, а что я сделал — ничего. Ничего. И посмотрел на свои ноги, обутые в элегантные ботинки мистера Лера, на запасные брюки мистера Лера. Мистер Лер сказал:

— Он не обидится на мою откровенность. Мы здесь все христиане.

— Да, конечно. Мне интересно послушать ваши...

— По-моему, у вас придают слишком большое значение вещам несущественным.

— Да? Вы считаете, что...

— Посты... рыба по пятницам...

Да, он вспомнил, будто из далекого детства, что такое было, когда-то он соблюдал эти правила. Он сказал:

— Ведь вы немец, мистер Лер. Германия — великая военная держава.

— Я никогда не служил в армии. Я не одобряю...

— Да, разумеется. Но вы же понимаете — дисциплина все-таки необходима. В бою муштра, может, и не пригодится, но она вырабатывает характер. А нет дисциплины — тогда... тогда получаются такие, как я. — Он вдруг с ненавистью посмотрел на свои ботинки — они были точно клеймо дезертира. — Такие, как я, — яростно повторил он.

Наступило общее замешательство. Мисс Лер начала было:

— Ну что вы, отец... — Но мистер Лер опередил ее. Он захлопнул журнал, начиненный гладко выбритыми политическими деятелями, и сказал своим германо-американским голосом, гортанно отчеканивая слова:

— Ну-с, пора купаться. Составите мне компанию, отец? — И священник покорно последовал за ним в их общую спальню. Он снял с себя одежду мистера Лера, надел плащ мистера Лера и, босой, пошел за мистером Лером через веранду и через луг. Накануне он опасливо спросил: «А змей здесь нет?» — и, презрительно хмыкнув, мистер Лер ответил, что, будь здесь змеи, они не преминули бы убраться с дороги. Мистер Лер и его сестра дружно отвергали всякую нечисть, просто отказывались верить во что-либо несовместимое с обычным германо-американским бытом. Такое отношение к жизни было по-своему великолепно.

У склона луга по коричневой гальке бежала мелкая речушка. Мистер Лер скинул халат и лег в воду на спину; что-то праведное и идеалистическое чувствовалось даже в этих сухопарых, немолодых ногах с веревками мускулов. Крошечные рыбешки резвились у него на груди и пощипывали за соски.

Это был скелет того юноши, который до такой степени не одобрял милитаризма, что решился покинуть родину. Вскоре мистер Лер сел и начал старательно намыливать свои тощие бедра. Потом мыло перешло к священнику, и он последовал его примеру. Он чувствовал, что от него ждут этого, но сам считал такое занятие пустой тратой времени. Пот очищает тело не хуже воды. Но ведь это та нация, что придумала поговорку: чистоплотность — путь к праведности. Именно так: чистоплотность, не чистота.

И все же какое наслаждение лежать в прохладной воде и чувствовать, что солнце идет к закату... Он вспомнил тюремную камеру со стариком и набожной женщиной, метиса, который разлегся поперек двери в лесную хижину, мертвого ребенка и покинутую плантацию. Вспомнил с чувством стыда свою дочь, брошенную на произвол судьбы, вспомнил ее, испорченную и невежественную, там, у свалки мусора. Нет, не имеет он права на такую роскошь.

Мистер Лер сказал:

— Будьте добры — мыло.

Он лег лицом вниз и принялся за свою спину.

Священник сказал:

— Может быть, следует предупредить вас... Завтра утром я служу мессу в деревне. Не лучше ли мне уйти из вашего дома? Я не хочу, чтобы у вас были неприятности из-за меня.

Мистер Лер сосредоточенно бултыхался в воде, смывая мыло. Он сказал:

— Да нет, со мной ничего не сделают. Но вам советую — будьте осторожнее. Вы, конечно, знаете, что это запрещено законом.

— Да, — сказал священник. — Знаю.

— Одного знакомого мне священника оштрафовали на четыреста песо. Уплатить штраф он не мог, и его посадили на неделю в тюрьму. Почему вы улыбаетесь?

— Да потому, что здесь все так... тихо, мирно. Неделя тюрьмы!

— Впрочем, ваш брат всегда свое вернет на пожертвованиях. Дать вам мыло?

— Нет, спасибо. Больше не надо.

— Тогда давайте кончать. Мисс Лер любит купаться до заката.

Идя гуськом к дому, они повстречали мисс Лер, такую грузную в халате. Машинально она бросила на ходу, будто негромко пробили часы:

— Как сегодня вода? — Брат ответил ей, наверно, в тысячный раз:

— Приятно холодит, милая. — И она прошлепала по траве в комнатных туфлях, близоруко наклоняясь вперед.

— Если вы не возражаете, — сказал мистер Лер, затворяя дверь спальни, — давайте побудем здесь, пока мисс Лер не вернется. Понимаете, в чем дело, — речку видно с веранды. — Он стал одеваться — высокий, костлявый и чуть скованный в движениях. Две железные кровати, единственный стул и платяной шкаф — как в монастырской келье, только распятия здесь не было — ничего «несущественного», по словам мистера Лера. Но Библия была. В черном коленкоровом переплете она лежала на полу возле одной из кроватей. Кончив одеваться, священник раскрыл ее.

На форзаце была наклейка, которая свидетельствовала, что эта книга предоставлена гостинице Гидеоновским обществом. Далее шло: «Библию в каждый гостиничный номер. Обратим коммерсантов к Христу. Благая весть».

Потом следовал перечень текстов. Священник с удивлением прочел:

Если вас постигла беда, читайте Псалом 34.

Если дела ваши плохи. Псалом 37.

Если вы процветаете. Первое Послание к Коринфянам т, 10, 2.

Если вы в унынии и отпадаете от веры. Послание Иакова, 1, Книгу пророка Осии, XIV. 4-9.

Если вас одолевают грехи, Псалом 50, Евангелие от Луки, XVIII, 9-14.

Если вы жаждете мира, силы и изобилия, Евангелие от Иоанна, 14.

Если вы одиноки и вам не хватает мужества, Псалмы 23 и 27.

Если вы теряете веру в людей, Первое Послание к Коринфянам, XIII.

Если вы жаждете мирных снов. Псалом 121.

Священник не мог понять, как эта книжка с ее уродливой небрежной печатью и убогими наставлениями попала сюда, на южноамериканскую асьенду. Отвернувшись от зеркала и держа в руках большую жесткую щетку для волос, мистер Лер пояснил ему:

— Моя сестра раньше держала гостиницу. Для коммивояжеров. Но когда жена у меня скончалась, сестра свою гостиницу продала и переехала сюда. И привезла одну из своих Библий. Вам этого не понять, отец. Вы не любите, когда люди читают Библию. — Мистер Лер все время стоял на страже своей веры, словно ощущая некоторое неудобство, как от башмака, который не по ноге.

Священник спросил:

— Ваша жена здесь и похоронена?

— На выгоне, — коротко ответил мистер Лер. Держа щетку в руке, он прислушался к тихим шагам на дорожке. — Это мисс Лер, — сказал он, — возвращается с купания. Теперь можно выйти.

Подъехав к церкви, священник слез со старой лошади мистера Лера и накинул поводья на куст. Это было его первое посещение деревни с того самого вечера, как он свалился у церковной стены. Деревня сбегала вниз по склону; по обе стороны широкой, поросшей травой улицы в сумраке виднелись крытые жестью бунгало и глинобитные хижинки. Кое-где уже горели лампы, а по хижинам бедняков носили разжигу. Священник шел медленно, чувствуя себя покойно, в полной безопасности. Первый встретившийся ему человек снял шляпу, опустил на колени и поцеловал ему руку.

— Как тебя зовут? — спросил священник.

— Педро, отец.

— Спокойной ночи, Педро.

— Вы отслужите утром мессу, отец?

— Да. Месса будет.

Он прошел мимо деревенской школы. На ступеньках ее сидел учитель — полный молодой человек с темно-кариими глазами, в роговых очках. Увидев священника, он демонстративно отвернулся. Этот был из законопослушных — не пожелал здороваться с преступником. Поучительным, самодовольным тоном он начал выговаривать кому-то, скрытому его спиной. Речь шла

о младшем классе. К священнику подошла женщина и поцеловала ему руку. Как странно, что ты опять нужен людям, странно, что ты уже не несешь с собой смерти. Женщина сказала:

— Отец, вы исповедуете нас?

Он сказал:

— Да, да. В конюшне сеньора Лера. До мессы. Я приду туда к пяти часам. Как только рассветет.

— Нас так много, отец.

— Хорошо, тогда сегодня вечером. В восемь.

— А сколько детей надо окрестить, отец. Мы не видели священника уже три года.

— Я пробуду здесь еще два дня.

— А сколько вы с нас возьмете, отец?

— Ну... обычная цена по два песо. — Он подумал: надо будет нанять пару мулов и проводника. Дорога до Лас-Касаса обойдется в пятьдесят песо. Пять песо за мессу — остается собрать еще сорок пять.

— Мы бедные, отец. — робко начала торговаться женщина. — У меня у самой четверо детей. Восемь песо — большие деньги.

— Что-то многовато у тебя детей, коли священника не было здесь уже три года.

Он слышал, как его голос обретает прежнюю властность — точно все последние годы приснились ему и он не расставался с церковными обществами, с «Детьми Девы Марии» и ежедневной службой в церкви. Он резко спросил:

— Сколько здесь детей — некрещеных?

— Человек сто.

Он прикинул: значит, можно будет появиться в Лас-Касасе не жалким нищим, можно будет купить приличный костюм, найти подходящее жилье, устроиться... Он сказал:

— Хорошо, полтора песо с головы.

— Один песо, отец. Мы очень бедные.

— Полтора песо. — Голос из прошлого настойчиво прошептал ему на ухо: они не ценят того, за что не уплачено. Так говорил старый священник, которого он сменил в Консепсьоне. Старик пояснил: эти люди жалуются на бедность, на голод, но у них всегда припасено кое-что про черный день. Священник сказал: — Завтра в два часа дня приносите деньги и приводите детей в конюшню сеньора Лера.

Женщина сказала:

— Хорошо, отец. — Она, видимо, осталась довольна: выторговала пятьдесят сентаво с головы. Священник пошел дальше. Скажем, сто человек детей, подсчитывал он, вместе с завтрашней мессой это будет сто шестьдесят песо. Может, удастся нанять пару мулов с проводником за сорок песо. Сеньор Лер даст мне еды на шесть дней. Останется сто двадцать песо. Да это целое состояние после всего, что было за последние годы. Встречные отдавали ему дань уважения, мужчины снимали шляпы. Будто снова наступили те дни, когда священников не преследовали. Прежняя жизнь возвращалась, точно забытая привычка, которая заставляла его высоко держать голову, управляла его походкой и даже вкладывала слова в уста. Из харчевни кто-то позвал:

— Отец!

Тучный, с тройным торгашеским подбородком человек в жилетке, несмотря на жару, и при часах на цепочке.

— Да? — сказал священник. Позади этого человека, на уровне его головы, стояли бутылки — минеральная вода, пиво, спиртные напитки... Священник вошел с пыльной улицы под пекло керосиновой лампы.

— Что тебе? — спросил он властным, нетерпеливым тоном, таким новым и таким привычным для него.

— Вам, отец, может, нужно вино для причастия?

— Пожалуй... но только в кредит.

— Священникам кредит у меня всегда широкий. Я человек религиозный. У нас тут все религиозные. Вы, наверно, будете крестить? — Он алчно подался вперед, держась почтительно и в то же время нагло, — мол, оба мы люди образованные и придерживаемся одного образа мыслей.

— Да, пожалуй...

Хозяин харчевни понимающе улыбнулся. Нам с вами, будто намекал он, незачем вдаваться в подробности, мы и так понимаем друг друга. Он сказал:

— Раньше, когда церковь не была закрыта, меня выбрали казначеем «Общества святого причастия». Я добрый католик, отец. Народ здесь, конечно, невежественный. Не удостоите ли вы меня чести выпить стаканчик бренди? — По-своему он был вполне искренен.

Священник нерешительно проговорил:

— С твоей стороны очень... — Два стакана были уже налиты. Ему вспомнилась его последняя выпивка, когда он сидел в темноте на кровати, слушая начальника полиции, и видел при вспышках электричества, как исчезают остатки вина. Это воспоминание, точно рука, снимало с него доспехи и оставляло его беззащитным. От запаха бренди он почувствовал сухость во рту. Он подумал: какой я комедиант! Мне нечего делать здесь среди хороших людей. Он повертел стакан в руке и вдруг вспомнил и все остальные выпитые им стаканы. Он вспомнил, как зубной врач говорил о своих детях и как Мария вынула из тайника бутылочку, сбереженную для него — для пьющего падре.

Он нехотя пригубил стакан.

— Бренди хорошее, отец, — сказал хозяин харчевни.

— Да. Хорошее бренди.

— Могу уступить вам дюжину бутылок за шестьдесят песо.

— Откуда мне взять шестьдесят песо? — Он подумал: в некоторых отношениях по ту сторону границы было, пожалуй, лучше. Страх и смерть — еще не самое плохое. Жизнь порой тянется впустую.

— Я не хочу наживаться на вас, отец. Пятьдесят песо.

— Пятьдесят, шестьдесят. Какая разница?

— Пейте, отец. Еще стаканчик. Бренди хорошее. — Хозяин угодливо нагнулся над стойкой и сказал: — Ну а полдюжины, отец, за двадцать четыре песо? — И добавил с хитрой улыбкой: — Ведь придется крестить, отец.

Как страшно, что все так быстро забываешь и возвращаешься к прежнему! Он слышал свой голос, свои беседы на улице и эту концепсьонскую интонацию, как будто бы ничего не было — ни смертного греха без покаяния, ни постыдного бегства. Бренди приобрело противный привкус —

привкус порока. Господь прощает малодушие и страсти, обуревающие человека, но можно ли простить благочестие, которое всего лишь привычка? Он вспомнил женщину в тюрьме и ее несокрушимое самодовольство. Вот и он такой же. Он проглотил бренди, будто испил проклятие. Метис еще может спастись: спасение молнией ударяет в злые сердца, но благочестие, ставшее привычкой, освобождает тебя от всего, кроме молитвы на сон грядущий, кроме участия в собраниях церковных обществ и прикосновения смиренных губ к твоей руке в черной перчатке.

— Лас-Касас — прекрасный город, отец. Говорят, там каждый день можно слушать мессу.

Вот еще один благочестивец. Таких много. Хозяин харчевни подливал ему бренди в стакан, но аккуратно — так, чтобы не переусердствовать. Он сказал:

— Когда приедете в Лас-Касас, отец, отыщите там моего кума на Гвадалупа-стрит. У него харчевня — ближайшая к церкви. Хороший человек. Казначей «Общества святого причастия» — я ведь тоже был здесь казначеем в прежние добрые времена. Он продаст недорого все, что вам нужно. Ну-с, а несколько бутылок в дорогу возьмете?

Священник пил бренди. А почему не пить? Ведь это вошло у него в привычку так же, как набожность и назидательный тон. Он сказал:

— Три бутылки. За одиннадцать песо. Оставьте их для меня. — Он допил бренди и вышел на улицу. В домах светились огни, и широкая улица расстилалась между освещенными окнами, как прерия. Он оступился, попав ногой в ямку, и почувствовал чью-то руку у себя на локте. — А, Педро! Кажется, так тебя зовут? Спасибо, Педро!

— Рад услужить, отец.

Церковь стояла в темноте глыбой льда; лед подтаивал на жаре. В одном месте крыша у церкви просела, штукатурка над входом осыпалась. Священник покосился на Педро, задерживая дыхание, чтобы Педро не почувал запаха бренди, но разглядел только смутные очертания его лица. Он проговорил вкрадчиво, точно хотел обмануть лихоимца, притаившегося у него в сердце:

— Скажи людям, Педро, что за крещение я возьму только по одному песо... — Ничего, на бренди хватит, хотя, конечно, в Лас-Касас он приедет как нищий. Молчание длилось секунды две, а потом хитрый крестьянский голос затянул:

— Мы бедные, отец. Песо — это большие деньги. Вот у меня, например, трое детей. Нельзя ли, отец, по семьдесят пять сентаво?

Мисс Лер вытянула ноги, обутое в шлепанцы; из темноты на веранду слетались жуки. Она сказала:

— Однажды в Питтсбурге... — Ее брат спал с прошлогодним номером газеты на коленях; в тот день им доставили почту. Священник сочувственно хмыкнул, как в прежние дни, но это был неудачный ход. Мисс Лер замолчала и потянула носом. — Странно! Мне почудилось, будто пахнет спиртным.

Священник затаил дыхание и сел в качалку поглубже. Он подумал: как здесь тихо, как спокойно. А ведь некоторые горожане не могут спать в таких местах из-за тишины; тишина иной раз, как шум, назойливо гудит в ушах.

— О чем это я говорила, отец?

— Однажды в Питтсбурге...

— А, да. В Питтсбурге... Я ждала поезда. Читать мне было нечего — книги ведь очень дороги.

Дай, думаю, куплю газету, все равно какую — новости везде одни и те же. Но когда я ее развернула... Называлась она, кажется, «Полис ньюс». Кто бы мог подумать, что такие вещи печатают! Я, конечно, прочла всего несколько строк. Ничего страшнее со мной в жизни не случилось. Это... Это открыло мне глаза.

— Да-а...

— Мистеру Леру я об этом не сказала. Если б он узнал, то, наверно, изменил бы мнение обо мне.

— Ведь ничего дурного вы не сделали.

— Да, но знать про такие вещи...

Где-то вдали засвистела птица; лампа на столе начала коптить, мисс Лер нагнулась и убавила фитиль — точно пригасила единственный огонек на мили вокруг. Священник снова почувствовал вкус бренди во рту — так запах эфира напоминает человеку о недавней операции, пока он не привыкнет к тому, что жив. Бренди связывало его совсем с другим существованием. Он еще не свыкся с этим глубоким покоем. Пройдет время, и все наладится, сказал он себе, я подтянусь — ведь заказано всего три бутылки. Больше я пить не стану, там мне это не понадобится. Он знал, что лжет. Мистер Лер вдруг проснулся и сказал:

— Так вот, я говорил...

— Ты ничего не говорил, милый. Ты спал.

— Нет, речь шла о мерзавце Гувере<sup>10</sup>.

— Ошибаешься, милый. Это было задолго...

— Что ж, день сегодня тоже долгий, — сказал мистер Лер. — И отец, наверно, устал... после всех этих исповедей, — добавил он с чуть заметным отворачиванием.

Поток исповедников тянулся с восьми до десяти — два часа, заполненные всем дурным, что сотворила за три года такая маленькая деревушка. Зла было не так уж много — город мог бы блеснуть и худшим. Впрочем... Человек ограничен в своих поступках. Пьянство, прелюбодеяние, безнравственность. Чувствуя вкус бренди на языке, он сидел в качалке в одном из стойл и не смотрел на тех, кто стоял рядом с ним на коленях. Остальные ждали своей очереди в соседнем стойле, тоже опустившись на колени. Конюшня мистера Лера уже давно пустовала. У него осталась только одна старая лошадь, которая хрипло отфыркивалась в темноте под покаянный шепот.

— Сколько раз?

— Двенадцать, отец. А может, и больше. — И лошадь фыркнула.

Удивительно, какое простодушие сопутствует греху, — простодушия нет только у закоренелых осторожных преступников да у святых. Эти люди выходили из конюшни чистыми; один он не принес покаяния в грехах, не исповедался, не получил отпущения. Вот этому человеку ему хотелось сказать: «В любви ничего дурного нет, но любовь должна быть счастливой, открытой. Дурно, когда она тайная и не приносит счастья... Что может быть хуже такой любви? Только если теряешь Бога. А это и есть потеря Бога. Незачем налагать на тебя епитимью, дитя мое, ты и так много страдал». А другому хотелось сказать: «Похоть — это еще не самое дурное. Но вот настанет день, настанет час, и она может перейти в любовь — вот почему мы должны страшиться похоти. А если кто возлюбил свои грехи, тот уже несет на себе проклятие». Но привычная манера исповедника взяла свое: он будто опять сидел в душном, похожем на гроб ящике, где люди хоронят с помощью священника свои пороки. И он

---

<sup>10</sup> Гувер Герберт Кларк — американский президент (1929-1933), известный своей реакционной политикой



говорил:

— Смертный грех... опасно... надо владеть собой, — точно эти слова что-то значили. Он говорил: — Прочитай три раза «Отче наш» и три раза «Богородицу». — Он устало шептал: — Пьянство лишь начало... — И понимал, что ему нечего противопоставить даже этому обычному пороку, когда от него самого несет спиртным по всему стойлу. Он налагал епитимью наспех, сухо, машинально. Человек уйдет от него, не дождавшись ни чуткости, ни поддержки, и скажет: «Плохой священник».

Он говорил:

— Эти законы созданы для людей. Церковь не ждет от нас... если ты не можешь соблюдать пост, тогда ешь, вот и все. — Старуха болтала и болтала без удержу, исповедники рядом в стойле беспокойно переминались с колена на колена, лошадь фыркнула, а старуха все болтала, что постных дней она не соблюдает, что вечернюю молитву не договаривает до конца. И вдруг с чувством острой тоски он вспомнил заложников во дворе тюрьмы, и как они стояли в очереди к водопроводному крану, не глядя на него — на священника. Сколько страданий, сколько мужества по ту сторону гор! Он яростно перебил старуху: — Исповедуйся толком. Мне не важно знать, продается ли в вашей лавке рыба и клонит ли тебя ко сну вечером. Говори о своих настоящих грехах.

— Я хорошая женщина, отец. — удивленно пискнула она.

— Тогда что тебе здесь надо, зачем ты отнимаешь время у плохих людей? — Он сказал: — Любишь ли ты хоть кого-нибудь, кроме себя самой?

— Я люблю Господа, отец. — надменно проговорила старуха. Он быстро взглянул на нее и увидел при свете свечи, стоявшей на полу, черствые изюминки старческих глаз под черной шалью. Вот еще одна благочестивая вроде меня.

— Откуда в тебе такая уверенность? Любить Господа — это так, как любить мужчину... или ребенка. Потребность быть с Ним, возле Него. — Он безнадежно махнул рукой. — Потребность защитить Его от самой себя.

Отпустив последнего исповедника, он пошел через двор к дому мистера Лера. На веранде горела лампа, мисс Лер сидела с вязаньем в руках, с пастбища доносился запах травы, смоченной первыми дождями. Вот где можно бы жить счастливо, не будь ты неразрывно связан со страхом и страданиями — уныние так же входит в привычку, как набожность. Может быть, он по долгу своему обязан порвать эту связь, обязан найти покой и мир. Его снедала зависть к тем, кто исповедался и получил отпущение грехов. Через шесть дней, сказал он себе, в Лас-Касасе я тоже... Но ему не верилось, что кому-то дана власть снять тяжесть с его сердца. Даже когда он пьет, любовь не дает ему забыть содеянный грех. От ненависти освободиться легче. Мисс Лер сказала:

— Садитесь, отец. Вы, наверно, устали. Я, конечно, не верю в исповедь. И мистер Лер тоже не верит.

— Да?

— Не понимаю, как вы можете сидеть там и выслушивать про все эти ужасы... Помню, однажды в Питтсбурге...

Мулов привели накануне вечером, чтобы в путь можно было отправиться сразу же после мессы — второй, которую он служил в конюшне мистера Лера. Проводник — тощий, беспокойный человек — где-то спал, наверно, с мулами; он никогда не бывал в Лас-Касасе и знал дорогу туда только понаслышке. Мисс Лер с вечера заявила, что она разбудит священника, но он проснулся сам еще до

рассвета. Лежа на кровати, он услышал треск будильника в соседней комнате, похожий на телефонный звонок. Потом в коридоре послышалось шлеп-шлеп домашних туфель мисс Лер и стук-стук в дверь. Лежа на спине, мистер Лер спал безмятежным сном — плоский, прямой, как статуя епископа на надгробной плите.

Священник не раздевался на ночь, и как только мисс Лер постучала, он сразу же отворил дверь, не дав ей скрыться. Грузная, в сетке для волос, она испуганно вскрикнула, застигнутая врасплох.

— Простите.

— Ничего, ничего. Сколько у вас уйдет времени на мессу, отец?

— Причастников много. Минут сорок пять.

— Я приготовлю вам кофе и сэндвичи.

— Спасибо, не стоит.

— Не отпустим же мы вас на голодный желудок. Она проводила священника до двери и остановилась чуть позади него, так, чтобы кто-нибудь невзначай не увидел ее этим безлюдным, ранним утром. Над лугом клубился серый свет; тюльпанное дерево покрывалось цветами еще на один день. За речкой, где он купался, к конюшне мистера Лера шли прихожане; на таком расстоянии они казались мелкими, будто и не человеческие существа. Он чувствовал, как счастье настоужилось вокруг и ждет, что он окунется в него, точно детвора на киносеансе или на родео. Да, ему было бы хорошо, если б он не оставил позади ничего, кроме тяжелых воспоминаний. Человек должен стоять не за насилие, а за мир, и он уйдет в сторону мира.

— Вы так хорошо меня приняли, мисс Лер.

Странно было почувствовать вначале, что в тебе видят гостя, а не преступника или пьющего падре. Эти люди еретики, но им и в голову не приходило, что он плохой человек; они не лезли ему в душу, подобно его собратьям-католикам.

— Мы были рады вам, отец. Но там вам будет лучше. В Лас-Касасе хорошо. Это прекрасный город — высоконравный, как любит говорить мистер Лер. Если вы встретитесь там с отцом Кинтаной, передайте ему от нас привет. Он был здесь три года назад.

Ударили в колокол; его сняли с церковной колокольни и повесили около конюшни мистера Лера. Он звонил, как звонят в обычный воскресный день в любом другом месте.

— Иной раз, — сказала мисс Лер, — мне хочется сходить в церковь.

— За чем же дело стало?

— Мистеру Леру это не понравится. Он очень строгий. Но теперь церковные службы бывают так редко — до следующей, наверно, пройдет три года.

— Я вернусь раньше.

— Нет, едва ли, — сказала мисс Лер. — Дорога к нам нелегкая, а Лас-Касас прекрасный город. Там электрические фонари на улицах, две гостиницы. Отец Кинтана тоже обещал вернуться, но ведь христиане есть повсюду, правда? Зачем ему приезжать сюда? Да и мы не так уж в нем нуждаемся.

Мимо калитки прошли небольшой группой индейцы — низкорослые, мосластые, они были как выходцы из каменного века; мужчины в холщовых рубашках по колению держали в руках длинные шесты, а женщины с черными косами и топорными чертами лица несли детей за спиной.

— Индейцы узнали, что вы здесь, — сказала мисс Лер. — Наверно, миль пятьдесят прошли. — Индейцы остановились у калитки и уставились на священника. Когда он посмотрел на них, они пали

на колени и стали креститься — странным, мелким крестом, касаясь носа, ушей и подбородка. — Мой брат ужасно сердится, — сказала мисс Лер, — если при нем кто-нибудь становится на колени перед священником, но я не вижу в этом ничего дурного.

За углом дома били копытами мулы — проводник, наверно, привел их туда покормить кукурузой; едоки они медленные, и им требовалось время, чтобы наесться. Пора было начинать мессу и, отслужив ее, отправляться в путь. Священник вдохнул запах раннего утра — мир был еще свеж и зелен; в деревне за пастбищами залаяли собаки. В руках у мисс Лер тикал будильник. Священник сказал:

— Ну, я пойду. — Ему почему-то не хотелось покидать мисс Лер, и этот дом, и мистера Лера, спавшего у себя в комнате. Нежность и чувство зависимости от нее смешались у него в сердце. Когда человек просыпается после тяжелой операции, ему особенно дорого первое лицо, которое проступает перед ним в редеющем тумане наркоза.

Облачения на нем не было, но месса, что он служил в этой деревушке, больше других за последние восемь лет напоминала ему, как все шло когда-то у него в приходе: он не боялся, что служба будет прервана, не спешил с причастием, не опасался налета полицейских. Из стоящей на замке церкви в конюшню мистера Лера принесли даже алтарный камень. Но, готовясь принять святыне в этой тишине, в покое, он еще сильнее чувствовал свою греховность.

— Да не будет мне, недостойному, причастия тела твоего, Господь наш, Иисус Христос, в суд и осуждение. — Человек добродетельный почти перестает верить в ад, но он-то носит ад с собой, иногда даже видит его во сне. Domine, non sum dignus... domine, non sum dignus... Зло, как малярия, бежало у него в крови. Он вспомнил один свой сон: большая, поросшая травой арена, по краям ее статуи святых. Но святые были живые, они вращали глазами туда-сюда в ожидании чего-то. Он тоже ждал, страхась и упоая. Бородатые Петры и Павлы, прижимая Библии к груди, следили за входом на арену, а он не видел, что у него за спиной: вдруг оттуда выскочит зверь. Потом послышались звуки маримбы, наигрывавшей все один и тот же мотив, в небе вспыхнул фейерверк, и на арену, танцую, выбежал Христос; он прыгал взад и вперед, взад и вперед, становился в позы. С размалеванным и окровавленным лицом, гримасничая, как проститутка, Христос непристойно улыбался. Он очнулся от сна в глубочайшем отчаянии, будто обнаружив, что его последние деньги — фальшивые.

— ...и мы видели славу Его, славу как едиnorodного, от Отца, полную благодати и истины. — Месса подошла к концу.

Через три дня, сказал он себе, я буду в Лас-Касасе. Я исповедуюсь, получу отпущение грехов... и мысль о девочке возле мусорной свалки мучительной любовью обожгла ему сердце. Поможет ли исповедь, если так любишь плод своего преступления?

Люди опускались на колени, когда он шел к выходу из конюшни: вот кучкой стоят индейцы; вот женщины, детей которых он крестил; Педро; хозяин харчевни тоже стоит здесь, преклонив колена, закрыв глаза своими пухлыми руками, а с пальцев у него свисают четки. Вид у этого человека добропорядочный, может, он и на самом деле добропорядочный, может быть, подумал священник, я потерял способность разбираться в людях — может быть, та женщина в тюремной камере была лучше всех... Лошадь, привязанная к дереву, заржала, нарушая тишину раннего часа, и вся утренняя свежесть ворвалась в открытую дверь.

Около мулов его ждали два человека: проводник прилаживал стремя, а рядом с ним, почесывая под мышкой, улыбаясь ему навстречу неверной, настороженной улыбкой, стоял метис. Он был как легкая боль, напоминающая человеку о его недуге, как внезапное воспоминание, которое говорит, что любовь еще жива.

— Вот не ожидал увидеть тебя здесь, — сказал священник.

— Конечно, отец, конечно, не ожидали. — Он поскреб под мышкой и улыбнулся.

— Привел с собой солдат?

— Что это вы говорите, отец! — воскликнул метис и нерешительно хихикнул. У него за спиной, в открытой настежь двери, была видна мисс Лер, которая готовила сэндвичи в дорогу; она уже оделась, но сетку с головы так и не сняла. Мисс Лер аккуратно заворачивала сэндвичи в пергаментную бумагу, и в ее неторопливых движениях ему почудилось что-то странное, нереальное. Реальностью был метис. Священник сказал:

— Ну, что ты теперь задумал? — Уж не подкупил ли он проводника, чтобы тот увел меня назад, через границу? От этого человека можно ждать всего.

— Не надо так говорить, отец!

Мисс Лер бесшумно, как сон, исчезла у него из виду.

— Не надо?

— Я пришел сюда... — Метис набрал полную грудь воздуха перед тем, как выпалить неожиданно высокопарное заявление: — В поисках милосердия.

Проводник кончил возиться с одним мулом и занялся другим, укорачивая и без того короткие мексиканские стремена. Священник нервно усмехнулся:

— В поисках милосердия?

— Ведь вы, отец, единственный священник по эту сторону от Лас-Касаса, а человек умирает...

— Какой человек?

— Янки...

— Что ты несешь?

— Тот, которого ищет полиция. Он ограбил банк. Вы знаете, о ком я говорю.

— Я ему не нужен. — нетерпеливо сказал священник, вспомнив фотографию на облупившейся стене, взгляд, устремленный на первопричастниц за праздничным столом.

— Он добрый католик, отец. — Метис отвел глаза в сторону, почесывая под мышкой. — Он умирает, а нам с вами не хотелось бы иметь на совести, что этот человек...

— Не было бы у нас на совести чего-нибудь похуже.

— Как вас понимать, отец?

Священник сказал:

— Он только убивал и грабил. Он не предавал.

— Пресвятая Матерь Божия! Чтобы я...

— Мы оба предатели. — сказал священник. Он повернулся к проводнику: — Все готово?

— Да, отец.

— Тогда едем. — Он совершенно забыл про мисс Лер: тот, другой мир протянул к нему руку через границу, и он снова стал беглецом.

— Куда вы едете? — спросил метис.

— В Лас-Касас. — Священник неловко влез на мула. Метис уцепился за кожаное стремя, и он вспомнил их первую встречу: там тоже были и нытье, и мольба, и оскорбления.

— Хороший же вы священник, — запричитал метис. — Надо, чтобы об этом узнал епископ. Человек умирает, хочет покаяться, а вам вдруг понадобилось в город, и вы...

— Почему ты считаешь меня таким дураком? — сказал священник. — Я понимаю, зачем ты пришел сюда. Кроме тебя, у них никого нет, кто может меня узнать, а в этот штат они за мной не пойдут. Если я спрошу тебя, где этот американец, ты скажешь — знаю, знаю, можешь не говорить. — что он около самой границы по ту сторону.

— Вот и нет, отец. Вы ошибаетесь. Он около самой границы, но по эту сторону.

— Миля-другая не имеет значения. Судиться из-за этого здесь никто не будет.

— Какое это горе, отец, — сказал метис, — когда тебе не верят. И только потому, что один раз я... да, сознаюсь.

Священник тронул мула, они выехали со двора мистера Лера и свернули на юг; метис трусил у его стремени.

— Я помню, — сказал священник, — как ты крикнул, что у тебя хорошая память на лица.

— Да, память на лица у меня хорошая, — торжествующе воскликнул метис. — Иначе я бы сюда не пришел. Слушайте, отец. Я во всем вам покаюсь. Вы не знаете, какое искушение для бедного человека, когда ему обещают деньги! И я решил: раз он мне не верит, я ему покажу. Но я добрый католик, отец, и если умирающий зовет священника...

Они поднимались на пологие пастбища мистера Лера, которые вели к ближней гряде холмов. В шесть часов утра, на высоте в три тысячи футов, в воздухе чувствовалась свежесть, но им надо взобраться еще на шесть тысяч футов, и ночью там будет очень холодно. Священник хмуро сказал:

— Зачем мне совать голову в твою петлю? — Все это было более чем нелепо.

— Посмотрите, отец. — Метис держал в руке клочок бумаги; священник увидел знакомый почерк — крупные буквы, старательно выведенные детской рукой. В эту бумагу, наверно, заворачивали еду: она была просаленная, вся в пятнах. Он прочитал: «Принц Датский размышляет, что ему делать — покончить ли с собой или нет, мучиться ли сомнениями о причине смерти отца или же одним ударом...»

— Нет, не это, отец. На обороте. Это не то. Священник перевернул бумагу и прочел единственную фразу, написанную по-английски тупым карандашом: «Отец, ради всего святого...» Мул, никем не понукаемый, перешел на тяжелый, медленный шаг; священник и не пытался подгонять его. Этот клочок бумаги не оставлял никаких сомнений. Он чувствовал, что опять попал в ловушку, и на сей раз окончательно.

Он спросил:

— Откуда это у тебя?

— Дело было так, отец. Когда полицейские его подстрелили, я был вместе с ними. Это случилось в деревне по ту сторону границы. Он держал перед собой ребенка как заслон, но полицейские наплевали на это. Ребенок-то был индейский. Попали в обоих, но он убежал.

— Так как же?..

— А вот как, отец. — Метис тараторил без умолку. Оказывается, он боялся лейтенанта — лейтенант негодовал, что священнику удалось скрыться, — и решил улизнуть через границу, подальше от полицейских. Ночью ухитрился убежать, а по пути — то ли в этом штате, то ли в соседнем, — кто их знает, где начинается один, где кончается другой, — наткнулся на этого американца. Пуля попала американцу в живот...

— Тогда как же он мог убежать?

— Ну-у, отец, силы у него сверхчеловеческие. — Американец умирает, ему нужен священник...

— Как же ты его понял?

— Да ведь больше двух слов тут и не нужно. — И чтобы ему поверили, он из последних сил написал записку, и вот... Во всей этой истории дыр было что в решете. Но была записка, и от нее нельзя отмахнуться, как нельзя пройти мимо надгробного камня.

Метис снова вскипел:

— Вы мне не верите, отец!

— Нет, — сказал священник. — Не верю.

— Вы думаете, я лгу.

— Почти все ложь.

Он остановил мула и задумался, сидя в седле лицом к югу. Он был уверен, что это ловушка, поставленная, может быть, по подсказке метиса — ведь метис гнался за деньгами. Но американец умирал, сомневаться в этом не приходилось. Он вспомнил заброшенную банановую плантацию, где что-то случилось, и мертвого индейского ребенка на куче кукурузы. Да, сомнений быть не может, он нужен. Когда у человека столько такого на душе... Странно, но он почувствовал радость: он не верил по-настоящему в этот мир и покой. Покой так часто возникал в его снах по ту сторону границы, что теперь это все казалось не более чем сном. Он стал насвистывать песенку, когда-то где-то услышанную: «Пошла гулять я в поле и розочку нашла». Пора проснуться. И сон был бы дурным — ведь на исповеди в Лас-Касасе ему, кроме всего прочего, пришлось бы покаяться в том, что он отказал в исповеди человеку, умирающему со страшными грехами на совести. Он спросил:

— Ты думаешь, американец доживет?

— Наверно, — с готовностью ответил метис.

— Далеко это?

— Четыре-пять часов, отец.

— Поедешь на том муле, будешь меняться с проводником.

Священник повернул своего мула назад и окликнул проводника. Тот слез с седла и безучастно выслушал, что ему говорят. Он только сказал метису, ткнув пальцем в седло:

— Осторожнее с вьюком. В нем бутылки падре.

Они медленно поехали назад. Мисс Лер стояла у калитки. Она сказала:

— Вы забыли сэндвичи, отец.

— Ах да. Спасибо. — Он быстро оглянулся по сторонам — как все это было далеко от него теперь. — Мистер Лер еще спит?

— Разбудить его?

— Нет, нет. Передайте ему мою благодарность за гостеприимство.

— Хорошо, отец. И может, мы еще увидим вас здесь через несколько лет? Вы сами это обещали. — Она с любопытством посмотрела на метиса, и он ответил ей наглым взглядом своих желтых глаз.

Священник ответил:

— Очень возможно, — и с уклончивой, хитрой улыбкой посмотрел в сторону.

— Ну что ж, прощайте, отец. Вам надо торопиться. Солнце уже высоко.

— Прощайте, дорогая мисс Лер.

Метис раздраженно ударил своего мула и тронулся с места.

— Не туда, любезный, — крикнула ему мисс Лер.

— Мне надо навестить тут одного человека, — пояснил священник и, пустив мула рысцой, затрусил за метисом к деревне. Они проехали мимо белой церкви — она тоже была из области сновидений. В реальной жизни церкви нет. Впереди показалась длинная, грязная деревенская улица. В дверях своего домика стоял учитель; он насмешливо помахал ему рукой, провожая его недобрым взглядом сквозь роговые очки.

— Ну как, отец, увозите свою добычу?

Священник остановил мула. Он сказал метису:

— В самом деле!.. Я и забыл...

— Вы хорошо заработали на крестинах, — сказал учитель. — Стоило подождать несколько лет.

— Поехали, отец, — сказал метис. — Не слушайте его. — И плюнул. — Он плохой человек.

Священник сказал:

— Вы здесь всех хорошо знаете. Если я оставлю вам деньги в дар, купите вы на них что-нибудь такое, от чего не будет никакого вреда людям — еду, одеяла... только не книги?

— Еда здесь нужнее книг.

— Вот тут у меня сорок пять песо...

Метис взмолился:

— Отец! Что вы делаете?..

— Для успокоения совести? — сказал учитель.

— Да.

— Ну что ж, и на том спасибо. Приятно, что есть на свете совестливые священники. Это шаг вперед в человеческой эволюции, — сверкнув стеклами очков на солнце, сказал этот толстенький озлобленный человек, стоявший у своей крытой жестью хибарки — лачуги изгнанника.

Они миновали последние хижины, кладбище и стали подниматься в горы.

— Зачем, отец? Ну зачем? — заныл метис.

— Он неплохой человек, делает все что может. А мне ведь деньги больше не понадобятся? — спросил священник, и некоторое время они ехали молча, а слепящее солнце вышло из-за гор, и мулы напрягали лопатки, взбираясь на крутую каменистую тропу. Священник снова стал насвистывать «Я розочку нашла» — единственную песенку, которую он знал. Метис опять завел свои жалобы:

— Беда в том, отец, что вы... — и, не докончив, тут же увял: ведь жаловаться ему, собственно, было не на что, так как они ехали прямо на север, к границе.

— Проголодался? — наконец спросил его священник.

Метис насмешливо, злобно пробормотал что-то.

— Возьми сэндвич, — сказал священник, разворачивая пакет, приготовленный мисс Лер.

— Ну вот, смотрите. — сказал метис и победоносно хохотнул, точно сбрасывая с себя подозрение во лжи, тяготевшее над ним ни за что ни про что целых семь часов. Он показал на индейские хижины, которые стояли по ту сторону ущелья на склоне, нависшем полуостровом над горным провалом. До хижин было ярдов двести, но чтобы добраться туда, им придется потратить по меньшей мере час — тысяча футов вниз и еще тысяча вверх.

Священник сидел в седле, напряженно вглядываясь вперед: людей он в деревне не видел. Никого не было даже на сторожевой вышке — на небольшой куче хвороста, сложенного повыше хижин. Он сказал:

— По-моему, тут нет ни души. — Опять вокруг него пустота и безлюдье.

— А кого вам надо, кроме американца? — сказал метис. — Он здесь. Скоро сами увидите.

— Где же индейцы?

— Вот опять вы за свое, — заныл метис. — Подозреваете меня. Все время подозреваете. Откуда мне знать, где индейцы? Я ведь вам говорил, что он здесь один.

Священник слез с седла.

— А теперь что вы задумали? — в отчаянии крикнул метис.

— Мулы нам больше не понадобятся. Их можно увести.

— Не понадобятся? А как вы отсюда выберетесь?

— Это уж не моя забота. — Он отсчитал сорок песо и сказал погонщику: — Я нанял тебя до Лас-Каса. Ну что ж, твое счастье. Получай за шесть дней.

— Я вам больше не нужен, отец?

— Нет. И уходи отсюда поскорее. А это самое... ты знаешь, о чем я... оставь здесь.

Метис заволновался:

— Пешком туда долго идти, отец. А человек умирает.

— Дойдем и на своих копытах, времени на это уйдет не больше. Ну, друг, поворачивай назад. — Метис с тоскливой жадностью смотрел вслед мулам, осторожно пробирающимся по узкой каменной тропе; они исчезли за выступом скалы; постукивание их копыт — цок, цок, цок — замирало, сливаясь с тишиной.

— Ну а теперь, — живо проговорил священник, — задерживаться больше не будем. — И, перебросив через плечо небольшой мешок, пошел вниз по тропе. Он слышал у себя за спиной тяжелое дыхание; к тому же метис непрерывно портил воздух. Наверно, слишком много подносили ему пива в столице, и в приливе какого-то презрительного расположения к этому человеку он подумал: сколько всего случилось с ними обоими с той первой встречи в деревне, названия которой он даже не знал, когда жарким полднем метис покачивался в гамаке, отталкиваясь от земли желтым пальцем босой ноги. Если б он спал в ту минуту, ничего бы этого не было. Как ему не повезло, горемыке, что пришлось взвалить на себя такой чудовищный грех. Священник глянул через плечо и увидел большие пальцы метиса, вылезавшие, точно слизняки, из грязных резиновых туфель; метис осторожно спускался вниз, бормоча что-то себе под нос; непрерывное нытье не мешало ему портить воздух. Бедняга, подумал священник, не такой уж он, наверно, плохой человек. И не такой уж выносливый. К тому времени, когда священник спустился на дно ущелья, метис отстал от него футов на пятьдесят. Священник сел на камень и вытер лоб, и, еще не поравнявшись с ним, метис начал свои жалобы:



— Куда вы торопитесь? — Чем ближе было к предательству, тем больше росла его обида на свою жертву.

— Ты же как будто говорил, что он умирает, — сказал священник.

— Конечно, умирает. Но ему еще долго до конца.

— Чем дольше, тем лучше для всех нас, — сказал священник. — Может, ты прав. Я передохну здесь.

Но метис заартачился, как строптивый ребенок, и захотел идти дальше. Он сказал:

— У вас все через край. Или бежите бегом, или садитесь отдыхать.

— Никак на тебя не угодишь, — поддразнил его священник и тут же спросил — резко, прямо: — Повидаться-то с ним они мне позволяют?

— Конечно, — сказал метис, но сразу спохватился: — Они, они! О ком это вы? Сначала жалуетесь, что тут никого нет, а потом говорите «они». — В голосе у него слышались слезы. — Вы, может, хороший человек. Может, даже святой, кто вас знает, но почему не говорить прямо, так, чтоб было понятно? С вами и веру потеряешь.

Священник сказал:

— Вот видишь этот мешок? Дальше мы его не понесем. Он тяжелый. А немножко выпить ни тебе, ни мне не помешает. Ведь нам обоим надо набраться мужества, правда?

— Выпить, отец? — загорелся метис, глядя, как священник вынимает бутылку из мешка. Он не отводил глаз от священника, пока тот пил. Два его клыка жадно подрагивали на нижней губе. Потом и он припал к бутылке.

— Мы, кажется, нарушаем закон, который действует по эту сторону границы, — усмехнулся священник, — если мы по эту сторону. — И, сделав большой глоток, опять отдал бутылку метису; скоро в ней показалось дно, тогда он взял ее и швырнул о камни, так что осколки разлетелись, словно шрапнель. Метис вздрогнул. Он сказал:

— Тише, вы. Подумают, что у вас ружье.

— А остальное, — сказал священник, — нам не понадобится.

— У вас еще есть?

— Еще две бутылки, но в такую жару много пить нельзя. Бросим их здесь.

— Почему же вы не сказали, что вам тяжело нести, отец? Дайте я понесу. Меня только попроси, я все сделаю. Охотно. Да вы ни за что не попросите.

Они стали подниматься дальше, и бутылки мягко позвякивали в мешке. Солнечные лучи отвесно падали им прямо в темя. На то, чтобы выбраться из ущелья, у них ушло еще около часа. Сторожевая вышка нависла над тропой, точно верхняя челюсть, а выше скал показались крыши хижин. Индейцы не любят горных троп; они селятся в стороне от них и наблюдают сверху, кто к ним идет. Священник подумал: когда же появится полиция? Ловко они прячутся.

— Сюда, отец. — Метис свернул с тропы и пошел первым, карабкаясь вверх по камням к небольшой площадке. Вид у него был встревоженный: что-то, видимо, получилось не так, как он ждал. Десять — двенадцать хижин стояли на фоне мрачного неба, точно могильные памятники. Приближалась гроза.

Лихорадочное нетерпение охватило священника: он ступил в расставленную перед ним ловушку, поскорее бы ее захлопнули и положили конец всему. Может, в него выстрелят из какой-

нибудь хижины? Он вышел на самый край отпущенного ему времени: скоро уже не будет ни завтра, ни вчера, будет только вечная жизнь. Жаль, что он мало выпил. Голос у него дрогнул:

— Ну вот мы и пришли. Где же этот янки?

— Ах да, янки, — сказал метис и передернулся всем телом. Он точно забыл на минуту, под каким предлогом затащил сюда священника. Он стоял, вытаращив глаза на хижины, тоже не зная, что будет дальше. — Когда я уходил, он был вон там.

— Не мог же он переползти куда-нибудь в другое место.

Если б не записка, священник усомнился бы в существовании американца. — записка, да еще, конечно, убитый ребенок. Он пошел к хижине по маленькой затихшей просеке. Может, в него выстрелят, не дав ему даже войти? Будто идешь с завязанными глазами по доске, не зная, когда оступишься и полетишь в пропасть — навеки. Он икнул и переплел пальцы за спиной, стараясь унять дрожь. Все-таки хорошо, что калитка мисс Лер осталась где-то там, далеко — ему ведь не верилось, что можно вернуться к приходским делам, ежедневно служить мессу и неукоснительно соблюдать все внешние проявления благочестия. Тем не менее смерть лучше бы встретить хмельным. Он подошел к двери хижины — ни звука. Потом чей-то голос сказал:

— Отец.

Он оглянулся. Метис стоял на просеке с искаженным от страха лицом; два его клыка подрагивали и дергались на нижней губе.

— Что тебе?

— Ничего, отец.

— Зачем ты меня окликнул?

— Я молчу, — солгал он.

Священник повернулся и вошел в хижину. Да, американец был там. Живой или мертвый — другое дело. Он лежал на соломенной циновке с закрытыми глазами, с открытым ртом, сложив руки ниже груди, точно ребенок, у которого болит живот. Боль меняет лицо: а может быть, его меняют преступления, сошедшие с рук. — так же как политика или благочестие. Трудно было узнать в нем человека с газетной фотографии, висевшей на стене полицейского участка: тот был грубый, наглый, удачливый. А у этого вид самого обыкновенного бродяги. Боль обнажила нервы и придала его лицу обманчивую духовность.

Священник стал на колени и склонился к его губам, стараясь уловить, дышит ли он. В лицо ему ударило тяжелым запахом — смесью блевотины, никотина и винного перегара. Много лилий ушло бы на то, чтобы заглушить этот смрад. Еле слышный голос у самого его уха проговорил по-английски:

— Смойтесь, отец. — Снаружи, за дверью, в предгрозовом свете, не сводя глаз с хижины, стоял на чуть подрагивающих ногах метис.

— Значит, ты жив? — быстро проговорил священник. — Тогда скорее. Времени у тебя мало.

— Смойтесь, отец.

— Ты ведь звал меня? Ты католик?

— Смойтесь, отец, — снова прошептал американец, точно это были единственные слова, оставшиеся у него в памяти от давно забытого урока.

— Говори же, — сказал священник. — Когда ты исповедовался в последний раз? — Веки поднялись, и в него уперся удивленный взгляд. Американец неуверенно проговорил:

— Лет десять назад. А зачем вы здесь?

— Ты же просил священника. Ну, говори. Десять лет — это большой срок.

— Смойтесь, отец, поскорее. — сказал американец. Давнишний урок опять всплывал у него в памяти. Точно ползучий гад, раздавленный с хвоста, он лежал на циновке, сложив руки на животе, и вся жизнь, оставшаяся в нем, сосредоточилась в одной мысли. Он прошептал сдавленным голосом: — Этот подлец...

Священник сказал с яростью:

— Вот как ты исповедуешься? Я пять часов добирался сюда... и слышу от тебя одну мерзость. — Как это чудовищно несправедливо, что вместе с опасностью к нему вернулась его полная бесполезность, — он ничего не мог сделать для этого человека.

— Слушайте, отец... — сказал американец.

— Я слушаю.

— Смойтесь отсюда, отец. Я не знал...

— Не за тем я сюда шел, чтобы говорить о себе. — сказал священник. — Чем скорее кончится исповедь, тем скорее я уйду.

— Обо мне не беспокойтесь. Мое дело кончено.

— Значит, проклят навеки? — со злостью сказал священник.

— Ясно. Проклят, — сказал американец, слизывая кровь с губ.

— Слушай, что тебе говорят, — сказал священник, наклоняясь еще ближе к застарелому, тошнотворному запаху. — Я пришел сюда, чтобы выслушать твою исповедь. Ты хочешь исповедоваться?

— Нет.

— А хотел, когда писал ту записку?

— Может, и хотел.

— Я знаю, что ты собираешься сказать. Понимаешь? Знаю. Ладно, не будем об этом. Помни, ты умираешь. Не полагайся слишком-то на милость Божию. Господь дарует тебе эту последнюю возможность. Второй, глядишь, и не будет. Как ты жил все эти годы? Теперь твоя жизнь не кажется тебе такой уж роскошной? Ты убивал людей — вот, пожалуй, и все. Любой это может, а потом и его убьют. Как тебя убили. И ничего не осталось, только боль.

— Отец.

— Да? — Священник нетерпеливо вздохнул, наклоняясь еще ближе. У него мелькнула надежда, что американец наконец-то внял ему и выдавит из себя жалкую ниточку скорби.

— Возьмите мой револьвер, отец. Понимаете? Вот тут у меня под боком.

— Не надо мне револьвера.

— Нет, надо. — Американец сдвинул одну руку с живота и медленно повел ею к плечу. Это стоило ему невероятных усилий: зрелище было невыносимым. Священник строго сказал:

— Лежи спокойно. Револьвера там нет. — Он увидел пустую кобуру у американца под мышкой. Это было первое бесспорное доказательство того, что кроме них и метиса здесь есть кто-то еще.

— Скоты, — сказал американец, и его рука устало замерла там, куда она дотянулась, — на

сердце. Он был похож на статую женщины в стыдливой позе: одна рука на груди, вторая — на животе. В хижине было очень душно; над ней стоял мрачный свет надвигающейся грозы.

— Слушайте, отец... — Потеряв всякую надежду, священник сидел у ложа американца; теперь уже ничто не обратит этот неистовый мозг к покою и миру. Может быть, раньше, несколько часов назад, когда он писал эту записку... но порыв пришел и ушел. Теперь он шептал про какой-то нож. Среди преступников существует поверье, будто в глазах мертвеца отражается последнее, что они видели; по христианскому верованию, то же происходит и в душе — в последнюю минуту она запечатлевает отпущение грехов и мир, идущий вслед за жизнью, полной самых гнусных преступлений. А случается, что набожный человек умирает скоропостижно в борделе без покаяния и его якобы чистое житие так и уходит в вечность с пятном греха. Ему приходилось слышать, что раскаяние на смертном одре — выдумка: выходит, будто можно мгновенно искоренить в себе привычку к греху. Не верят, что праведная жизнь может кончиться плохо, а порочная — хорошо. Он решил сделать еще одну отчаянную попытку и сказал:

— Ты же верил когда-то. Постарайся понять — это твоя последняя возможность. В последнюю минуту. Как у разбойника. Ты убивал людей... может, даже младенцев, — добавил он, вспомнив маленький темный комок у подножия креста. — Но не это главное. Это касается только земной жизни — каких-нибудь несколько лет, и ей конец. Оставь все здесь, в хижине, и уходи навеки... — Мелькнула смутная мысль, что ему самому эта жизнь недоступна, и он опечалился, затосковал... Мир, слава, любовь — это не для него.

— Отец, — настойчиво прошептал голос. — Оставьте меня. Подумайте о себе. Возьмите мой нож. — Усталая рука снова отправилась в путь — на этот раз к бедру. Колени согнулись в попытке повернуть тело на бок, но оно обмякло, силы покинули его, дух отлетел, все кончилось.

Священник стал наспех читать условное отпущение — а вдруг в последнюю секунду, на рубеже между жизнью и смертью, душа раскаялась? Хотя скорее всего и отлетела она, все еще отыскивая нож, чтобы нанести удар чужой рукой. Он молился:

— Боже милостивый, ведь он думал обо мне, ведь это ради меня... — Но в словах молитвы не было веры. В лучшем случае один преступник пытался помочь другому. И, как ни посмотреть на это, ни тот, ни другой ничего хорошего не заслужили.

### 3

Чей-то голос проговорил:

— Ну что, кончил?

Священник встал и в испуге сделал утвердительный жест. Он узнал полицейского офицера, который дал ему денег в тюрьме. — его темная щеголеватая фигура появилась в дверном проеме, поблескивая крагами на грозовом свету. Он держал одну руку на кобуре и, взглянув на мертвого бандита, сердито нахмурил брови.

— Не ждал меня? — сказал он.

— Нет, как же, — сказал священник. — Ждал. Я должен поблагодарить вас...

— Поблагодарить? За что?

— За то, что вы дали мне побыть с ним наедине.

— Я не варвар, — сказал офицер. — А теперь будь любезен выйти отсюда. И не пытайся убежать. Это бесполезно, сам видишь, — добавил он, когда священник вышел за порог и увидел с

десяток вооруженных полицейских, окруживших хижину.

— Хватит с меня бегать. — сказал он. Метиса и след простыл; в небе клубились грозовые тучи; под их навесом горы были как пестрые игрушки. Он вздохнул с нервным смешком: — Какого труда мне стоило перебраться через эти горы, и вот...

— Я никак не думал, что ты вернешься.

— Да ведь знаете, лейтенант, чувство долга есть даже и у труса. — Прохладный, свежий ветер, который поднимается иногда перед грозой, коснулся его щек. Он сказал с плохо разыгранной непринужденностью: — Сейчас меня и расстреляют?

Лейтенант резко повторил:

— Я не варвар. Тебя будут судить... по всем правилам.

— За что?

— За измену.

— Значит, надо проделать весь обратный путь?

— Да. Если не попытаешься бежать. — Он держал руку на кобуре, чтобы священник и шагу не сделал. Он сказал: — Честное слово, я где-то тебя...

— Ну, как же. — сказал священник. — Мы два раза встречались. Когда брали заложника в нашей деревне, вы еще спросили мою дочь: «Кто это?» Она ответила: «Отец», и меня отпустили. — Горный кряж вдруг исчез из виду, будто им плеснули водой в лицо.

— Скорее. — крикнул лейтенант. — Сюда, в хижину. — И приказал одному из полицейских: — Принеси какие-нибудь ящики, чтоб было на что сесть.

Спасаясь от обрушившегося на них ливня, они вдвоем вошли к мертвецу. Солдат, весь промокший, внес в хижину два упаковочных ящика.

— Свечку. — сказал лейтенант. Он сел и вынул револьвер из кобуры. Он сказал: — Садись вон туда, подальше от двери, чтобы мне было видно тебя. — Солдат зажег свечу и, накапав воску на утоптаный земляной пол, приладил ее там, и священник сел на ящик рядом с американцем. Пытаясь достать нож, американец изогнулся и теперь лежал так, будто хотел дотянуться до своего собеседника и сказать ему что-то по секрету. Они были одного поля ягоды: оба грязные, небритые; лейтенант будто принадлежал совсем к иной породе. Он презрительно проговорил: — Так у тебя есть ребенок?

— Да. — сказал священник.

— У тебя — у священника?

— Вы не думайте, что все мы такие. — Он посмотрел на блестящие пуговицы, в которых отражался огонек свечи. Он сказал: — Есть хорошие священники, есть плохие. И я плохой.

— Тогда, может, мы окажем услугу твоей Церкви...

— Да.

Лейтенант быстро взглянул на него, точно заподозрив в этом ответе насмешку. Он сказал:

— Ты говорил, два раза. Будто я видел тебя дважды.

— Да, я сидел в тюрьме. И вы дали мне денег.

— Помню. — Он воскликнул с яростью: — Какое чудовищное издевательство! Держать тебя в руках и выпустить! Да пока мы гоняемся за тобой, у нас погибло двое солдат. Они были бы живы по сей день... — Свеча зашипела под каплями, падающими сквозь крышу. — Этот американец не стоил

нам жизнью двух солдат. Он ничего особенно плохого не сделал.

Дождь лил и лил. Они сидели молча. И вдруг лейтенант сказал:

— Вынь руку из кармана.

— Я ищю карты. Это поможет нам провести время.

— Я в карты не играю. — отрезал лейтенант.

— Нет, нет. Не играть. Просто мне хочется показать вам два-три фокуса.

— Показывай. Раз хочется.

Мистер Лер подарил ему свою старую колоду. Священник сказал:

— Вот видите — три карты. Туз, король и валет. Теперь, — он разложил их на полу веером, — угадайте, какая из них туз.

— Вот эта, конечно, — ворчливо, не выказывая никакого интереса, ответил лейтенант.

— Ошибаетесь, — сказал священник, открыв карту. — Это валет.

Лейтенант презрительно проговорил:

— Шулерские фокусы или детские.

— А вот еще один, — сказал священник. — Называется «Улетай, валет». Я делю карты на три кучки — вот так. Беру валета червей и кладу его в среднюю кучку — вот так. Теперь я стучу по всем трем. — Он просветлел лицом: давно у него не было карт в руках. Он забыл и грозу, и мертвеца, и упрямое, враждебное лицо человека, сидевшего напротив. — Говорю: «Улетай, валет!» — Он снял половину левой кучки и показал валета. — И вот вам, пожалуйста.

— В колоде два валета, только и всего.

— А вы проверьте.

Лейтенант нехотя наклонился и проверил среднюю кучку. Он сказал:

— Индейцам ты, наверно, говоришь, что это чудо Господне.

— Зачем же? — Священник усмехнулся. — Индеец меня и научил этому фокусу. Он был самый богатый человек в поселке. И неудивительно — такой ловкач. Нет, я показывал эти фокусы на всех приходских увеселениях, которые мы устраивали для членов церковных обществ.

По лицу лейтенанта пробежала гримаса физического отвращения. Он сказал:

— Помню я эти общества.

— С детских лет?

— У меня хватило ума понять...

— Что?

— ...все ваши надувательства. — Он вышел из себя и схватился за револьвер, будто решив, что лучше уничтожить эту гадину сейчас, не сходя с места, навсегда. — Какое ханжество, какое притворство! Продай все и раздай бедным — этому вы учили? Но сеньора такая-то, жена аптекаря, говорит, что вот та семья не заслуживает помощи, а сеньор такой-то сякой-то или еще какой-нибудь говорит, что, если они голодают, поделом им, социалистам, а священник — ты — примечает, кто исполнил свой долг на пасху и внес пасхальные пожертвования. — Его голос перешел в крик; в хижину заглянул испуганный полицейский и тут же исчез в потоках дождя. — Церковь бедная, священник бедный, значит, продай все и отдай Церкви.

Священник сказал:

— Как вы правы! — И тут же добавил: — Правы и, конечно, неправы.

— Как же так? — яростно спросил лейтенант. — Я прав? Ты даже не потрудишься защитить свою...

— Когда вы дали мне денег в тюрьме, я сразу почувствовал: вы хороший человек.

Лейтенант сказал:

— Я слушаю твои разглагольствования только потому, что тебе не на что надеяться. Не на что тебе надеяться. Что бы ты ни говорил, это ничему не поможет.

— Да.

Он не хотел раздражать полицейского офицера, но за последние восемь лет ему почти ни с кем не приходилось говорить, кроме крестьян да индейцев. И что-то в его тоне приводило лейтенанта в ярость. Он сказал:

— Ты опасен. Вот почему мы таких уничтожаем. Лично против тебя я ничего не имею.

— Конечно нет. Вы против Бога. Таких, как я, вы каждый день сажаете в тюрьму... а потом даете им деньги.

— Нет, с вымыслами я не воюю.

— А со мной разве стоит воевать? Вы сами сказали — лгун, пьяница. Вот тот человек больше заслужил вашу пулю.

— Дело не в тебе, а в твоих идеях. — Лейтенант слегка вспотел в душном, парном воздухе. Он сказал: — Вы народ хитрый. Вспомни лучше, что ты сделал в Мексике для нас? Запретил ли хоть раз помещику избивать пеонов? Да, знаю, знаю, в исповедальне, может, и увещевал его, но твой долг тотчас же забыть об этом. Выходишь из церкви и садишься с ним за обеденный стол, и твой долг обязывает тебя не знать, что он убил крестьянина. И с этим покончено. Он оставил свои грехи в исповедальне.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал священник. Он сидел на ящике, сложив руки на коленях и опустив голову; как он ни старался, ему трудно было сосредоточиться на том, что говорил лейтенант. Он думал: до столицы сорок восемь часов. Сегодня воскресенье. В среду я, может, буду уже мертв. Он чувствовал себя предателем, потому что страшился боли от пули больше того, что ждет его дальше.

— У нас тоже есть идеи, — говорил лейтенант. — Довольно платить за молитвы, довольно давать деньги на строительство зданий, где возносят молитвы. Вместо этого мы обеспечим людей пропитанием, научим их читать, дадим им книги. Мы позаботимся о том, чтобы они не страдали.

— А если они хотят страдать?

— Человек, может, захочет изнасиловать женщину. Что ж, пусть насилует, раз ему хочется? Страдать нельзя.

— А вы страдаете непрестанно, — отметил священник, глядя на угрюмое индейское лицо за огоньком свечи. Он сказал: — Мысль, конечно, прекрасная. Хефе тоже так считает?

— Дурные люди есть и среди нас.

— А что будет потом? Потом, когда все насытятся и будут читать правильные книги — те, что вы разрешите им читать?

— Ничего. Смерть — непреложный факт. Мы не пытаемся изменить факты.

— У нас с вами много общего. — сказал священник, машинально раскладывая карты. — Мы тоже верим фактам и не пытаемся изменить их. А они таковы: все в мире несчастливо, независимо от того, богат человек или беден, разве только он святой, а святых не так уж много. Стоит ли бояться ничтожной боли? У вас и у меня есть одно общее убеждение — через сто лет нас не будет в живых. — Он хотел стасовать, но согнул карты — руки его не слушались.

— А ты все-таки побаиваешься ничтожной боли, — ядовито сказал лейтенант, глядя на его пальцы.

— Но ведь я не святой, — сказал священник. — И даже храбростью не отличаюсь. — Он тревожно поднял голову: тучи уходили, свечка была уже не нужна. Скоро небо совсем расчистится и можно будет начинать долгий путь назад. Ему хотелось говорить и говорить, чтобы хоть на несколько минут оттянуть отъезд. Он сказал: — Есть между нами еще одно различие. Стремиться к вашей цели должны только хорошие люди. В вашей партии они будут не всегда. Вот и вернется голодная жизнь, побои и корыстолюбие. А то, что я трус и прочее, — это не так уж важно. Все равно я могу причащать и отпускать грехи. Это останется за нами, даже если все священники будут такие, как я.

— Вот еще чего я не могу понять, — сказал лейтенант. — Почему ты — именно ты — остался, когда другие бежали?

— Не все бежали, — сказал священник.

— Но почему ты-то остался?

— Однажды, — сказал священник, — я сам задал себе такой вопрос. Дело в том, что не сразу встает перед человеком выбор между двумя путями — вот этот хорош, а этот плох, — поэтому легко запутаться. В первый год мне как-то не верилось, что надо бежать. Ведь церкви сжигали и раньше. Сами знаете, сколько раз это бывало. И я подумал: останусь, ну, скажем, еще на месяц, посмотрю, может, все образуется. Потом... вы и не представляете себе, как быстро летит время! — Стало совсем светло, дождь кончился; жизнь идет своим чередом. Полицейский прошел мимо двери и с любопытством заглянул в хижину. — Знаете, до меня внезапно дошло, что на много миль вокруг нет больше ни одного священника. Закон о вступлении в брак доконал их. Они бежали — и правильно сделали. Был у нас один священник, который всегда осуждал меня. Я, знаете ли, болтун, вечно трепал языком. Он говорил — и правильно говорил, — что я бесхарактерный. Он бежал. Может быть, это смешно, но я почувствовал себя как когда-то в школе. У нас там был великовозрастный задира, который долгие годы наводил на меня страх, в конце концов его выгнали. И мне уже не надо было считаться с чьим-то мнением. Прихожане — те ничего. Прихожане меня любили. — Он улыбнулся, покосившись на скорчившегося янки.

— Ну, дальше? — хмуро сказал лейтенант.

— Так вы, пожалуй, все обо мне узнаете, — с нервным смешком сказал священник, — к тому времени, как я... сяду в тюрьму.

— И хорошо. Надо знать своих врагов.

— Тот священник был прав. Как только он скрылся, я совсем слал. Так и пошло — одно за другим. Я стал пренебрегать своими обязанностями. Стал пить. Мне, наверно, тоже надо было бежать, потому что мною овладела гордыня, а не любовь к Богу. — Он, сторбившись, сидел на ящике — маленький, щуплый, в поношенной одежде мистера Лера. Он сказал: — Гордыня свергла ангелов с небес. Хуже гордыни ничего нет. Мне думалось: вот какой я молодец — остался, когда все другие бежали. А потом я решил, что такому храбрецу можно жить по своим законам. И перестал поститься, перестал служить мессы. Уже забывал читать молитвы. И вот однажды, пьяный, томясь одиночеством... ну, знаете, как это бывает, я зачал ребенка. Всему виной моя гордыня. Я возгордился.



потому что не убежал. Проку от меня было мало, но я не убежал. Да, проку было не очень много. До того дошло, что в месяц и сотни причастников не набиралось. Если бы я уехал, я причастил бы в десять раз больше. Вот как человек может ошибаться — думаешь, что если тебе трудно, если грозит опасность... — Он слабо взмахнул руками.

— Ну что ж, мучеником ты станешь, будь спокоен, — злобно сказал лейтенант.

— Нет, мученики не такие. Они не думают: надо выпить побольше бренди, тогда будет не так страшно.

Лейтенант резко сказал полицейскому, появившемуся в дверях:

— Что тебе? Что ты здесь торчишь?

— Гроза прошла, лейтенант. Люди спрашивают, когда мы двинемся.

— Сейчас. Немедленно.

Он встал и сунул револьвер в кобуру. Он сказал:

— Поддай лошадь арестованному. И выройте могилу этому янки. Живо!

Священник положил карты в карман и тоже поднялся. Он сказал:

— Вы так терпеливо меня слушали...

— Чужие идеи, — сказал лейтенант, — мне не страшны.

От земли, политой дождем, поднимались испарения; туман доходил им почти до колен; лошади стояли готовые в путь. Священник сел в седло, но не успели они двинуться, как сзади послышался голос — все тот же, знакомый, сердито ноющий:

— Отец!

Это был метис.

— А-а! — сказал священник. — Опять ты?

— Я знаю ваши мысли. — сказал метис. — Нет в вас милосердия, отец. Вы с самого начала думали, что я предатель.

— Уходи. — резко сказал лейтенант. — Ты свое дело сделал.

— Можно мне поговорить с ним, лейтенант? — спросил священник.

— Вы хороший человек, — поспешил сказать метис, — но о людях думаете плохо. Мне нужно ваше благословение, только и всего.

— Ведь благословения не продашь. Зачем оно тебе? — сказал священник.

— Затем, что мы с вами больше не увидимся. А я не хочу, чтобы вы уехали, дурно думая обо мне.

— И суеверный же ты! — сказал священник. — Думаешь, мое благословение будет как шоры на глазах у Господа. Он все знает, и я здесь бессилён. Иди лучше домой и молись. А когда сподобишься благодати и почувствуешь свою вину, тогда отдай деньги...

— Какие деньги, отец? — Метис злобно дернул его стремя. — Какие деньги? Вот вы опять...

Священник вздохнул. Испытания опустошили его. Страх может изнурить человека сильнее долгой, утомительной дороги. Он сказал:

— Я помолюсь за тебя, — и подстегнул свою лошадь, чтобы поравняться с лейтенантом.

— Я тоже буду за вас молиться, отец, — снисходительно сообщил метис. Только раз, когда лошадь задержалась на уступе, примериваясь к крутому спуску, священник оглянулся. Метис стоял один среди хижин, приоткрыв рот с двумя длинными клыками. Это было как на моментальном снимке: метис то ли жалуется, то ли требует чего-то — может, кричит, что он добрый католик; одна рука скребет под мышкой. Священник помахал ему: у него не осталось враждебного чувства к метису, потому что ничего другого он уже не ждал от природы человеческой — впрочем, одно приносило ему утешение: он не увидит этой желтой предательской физиономии в свой последний час.

— Ты человек образованный. — сказал лейтенант. Он лежал поперек входа в хижину, подложив под голову свернутый плащ, держа руку на револьвере, вынутом из кобуры. Была ночь, но оба они не спали. Священник повернулся и негромко застонал, чувствуя одеревенелость и судорогу в ноге; лейтенант спешил, они сделали остановку только в полночь. Тропа уже спускалась с гор в топкую низину. Скоро весь штат перережут болота. Дожди начались по-настоящему.

— Да нет. Я сын лавочника.

— Но ты был за границей. Говоришь по-английски, как янки. В школе учился.

— Да.

— А мне приходилось до всего доходить своим умом. Но некоторые вещи можно постичь и без школы. Например, что есть богатые и бедные. — Он сказал, понизив голос: — По твоей милости я расстрелял троих заложников. Бедняков. Я возненавидел тебя из-за них.

— Понимаю, — сказал священник и хотел было встать, чтобы унять судорогу в правом бедре. Лейтенант стремительно сел и схватился за револьвер. — Что ты делаешь?

— Ничего. У меня судорога, вот и все. — Он снова лег со стоном.

Лейтенант сказал:

— Эти расстрелянные. Они же дети моего народа. Я хотел дать им весь мир.

— Как знать? Может, так и вышло.

Лейтенант вдруг злобно сплюнул, будто на язык ему попала какая-то гадость. Он сказал:

— У тебя на все есть ответы — бессмысленные ответы.

— Из книг я мало чему научился, — сказал священник. — Память плохая. Но вот что всегда меня удивляло в таких людях, как вы. К богатым у вас ненависть, а бедных вы любите. Верно?

— Да.

— Так вот, если бы я вас ненавидел, мне бы не хотелось, чтобы мой ребенок вырос таким, как вы. Смысла в этом нет.

— Выворачиваешь все наизнанку.

— Может быть. Я ваших идей никак не пойму. Мы всегда говорили: благословенны нищие, а богатым трудно будет попасть в царство небесное. Так зачем же преграждать нищему путь на небеса? Да, знаю — нас учат: помогай бедным, чтобы они не голодали, ибо голод может так же толкнуть на злодеяния, как и деньги. Но зачем же давать бедному власть? Пусть лучше умрет в грязи и проснется в царстве небесном — лишь бы не толкать его лицом в эту грязь.

— Твои рассуждения мне ненавистны. — сказал лейтенант. — Не нужны мне твои рассуждения. Такие, как ты, видя людские страдания, пускаются рассуждать: «Может быть, страдания — это благо, может быть, человек станет лучше, испытай их». А я хочу отдать людям свое сердце.

— Не выпуская из рук револьвера.

— Да. Не выпуская из рук револьвера.

— Ну что ж, вот доживете до моих лет, может, тогда вам станет ясно, что сердце — ненадежный зверь. И разум тоже, но он хоть не говорит о любви. Любовь. Девушка бросается с головой в воду или душит младенца, а сердце твердит одно: любовь, любовь.

Они надолго замолчали. Священник думал, что лейтенант уснул, но вот он снова заговорил:

— Ясно и понятно ты никогда ничего не скажешь. Мне говоришь одно, а кого-нибудь другого — мужчину или женщину — убеждаешь: «Бог есть любовь». Но ты знаешь, что со мной это не пройдет, и я слышу от тебя совсем иное — то, с чем, по-твоему, я должен согласиться.

— Нет, — сказал священник. — Дело не в этом. Бог воистину есть любовь. Я не говорю, что сердцу совсем неведом вкус любви, но какой это вкус! Маленький стаканчик любви на ведро воды, зачерпнутой из канавы. А ту любовь не всегда распознаешь. Ее можно даже принять за ненависть. Любовь Господа! Она вселяет в человека страх. Это она воспламенила куст в пустыне, разверзла могилы и выпустила мертвецов во тьму. Да я убежал бы за милую, спасаясь от такой любви, если бы почувствовал ее с собою рядом.

— Не очень ты доверяешь своему Господу. Неблагодарный Он у тебя. Если б мне кто-нибудь служил так, как ты служишь своему Господу, я бы рекомендовал человека на повышение, выхлопотал бы ему хорошую пенсию... а заболел он раком, пристрелил бы его.

— Слушайте, — проникновенно сказал священник, нагнувшись в темноте к лейтенанту и налегая на затекшую ногу. — Не такой уж я двуличный, как вы думаете. Разве я говорил, что если смерть застанет их врасплох, то им неминуемо суждено проклятие? Я не рассказываю людям сказок, в которые сам не верю. Сила милосердия Господня мне неведома, я не знаю, сколь ужасает его сердце человеческое. Знаю я только одно: если был когда-нибудь в нашем штате хоть один-единственный человек, заслуживший проклятие, то я заслужил того же. — Он медленно проговорил: — И ничего другого я не хочу. Я хочу только справедливости.

— Приедем на место еще засветло, — сказал лейтенант. Шестеро полицейских ехали впереди, шестеро — сзади. Иногда в лесных зарослях между рукавами реки им приходилось двигаться гуськом. Лейтенант больше помалкивал, и когда двое полицейских затянули песню про толстого лавочника и его любовницу, он грозно приказал им замолчать. Все это мало походило на шествие победителей. На лице священника застыла слабая улыбка. Улыбка была надета, как маска, за которой он мог спокойно думать, не выдавая своих мыслей. А думал он больше всего об ожидающей его боли.

— Ты, наверно, надеешься на чудо, — сказал лейтенант, хмуро глядя на дорогу.

— Простите? Я не расслышал.

— Я говорю: ты, наверно, надеешься на чудо.

— Нет.

— Ты же веришь в чудеса?

— Да. Но со мной чуда не случится. Я уже никому не нужен. Зачем Господу сохранять мне жизнь?

— Не понимаю, как ты можешь верить в такую чепуху? Индейцы — ладно. Они увидят в первый раз электрическую лампочку и думают, что это чудо.

— А вы, увидев в первый раз человека, восставшего из мертвых, наверно, тоже так

подумаете. — Он неуверенно хохотнул из-за улыбающейся маски. — Смешно, правда? Дело не в том, что чудес не бывает, просто люди по-другому называют их. Представьте себе врачей, которые столпились вокруг умершего. Он уже не дышит, пульса нет, сердце не бьется — умер. Потом кто-нибудь из врачей возвращает его к жизни, и все они — как это принято говорить? — воздерживаются от высказываний. Никто из них не назовет это чудом, ведь такого слова они не признают. Потом то же самое случается еще и еще раз — потому, что Господь не оставляет землю, — и врачи говорят: чудес не бывает, просто мы расширили свое представление о жизни. Теперь нам ясно, что можно быть живым и без пульса, без дыхания, без ударов сердца. И они дают новое имя этому состоянию и говорят, что наука еще раз опровергла чудо. — Он снова хохотнул: — Их не проведешь.

Они выехали с лесной тропы на плотно утрамбованную дорогу, лейтенант дал шпоры лошади, и вся кавалькада перешла в галоп. До города было уже недалеко. Лейтенант хмуро сказал:

— Ты неплохой человек. Если я могу что-нибудь сделать для тебя...

— Если бы вы разрешили мне исповедаться... Впереди показались первые городские строения — спаленные солнцем, разваливающиеся глинобитные домишки. Кое-где классические колонны из алебастра, наляпанного поверх глины. Чумазый ребенок играл среди мусора.

Лейтенант сказал:

— Но ведь священников больше нет.

— Падре Хосе.

— Падре Хосе? — презрительно сказал лейтенант. — Он тебе не годится.

— Ничего, сгодится. Вряд ли я найду в городе святых.

Лейтенант замолчал. Они подъехали к кладбищу с побитыми ангелами и миновали высокую арку, на которой черными буквами было написано «Silencio».

— Хорошо. — наконец сказал лейтенант. — Можешь исповедаться у него. — Проезжая мимо кладбища, он не посмотрел в ту сторону — там, у кладбищенской стены, расстреливали осужденных. Дорога круто пошла вниз к реке; справа, на том месте, где раньше был собор, под жарким солнцем стояли пустые железные качели. Всюду безлюдье — оно чувствовалось в городе сильнее, чем среди гор, потому что когда-то здесь кипела жизнь. Лейтенант думал: ни пульса, ни дыхания, ни ударов сердца, но это все-таки жизнь, надо только найти для нее название. Мальчик, стоявший у дороги, следил за их приближением; он крикнул:

— Лейтенант, вы поймали его? — Лейтенанту смутно помнилось это лицо... площадь, разбитая бутылка... И он попытался улыбнуться мальчику, а получилась странная, хмурая гримаса, в которой не было ни торжества, ни надежды. Их приходилось искать заново.

## 4

Лейтенант дождался темноты и пошел сам. Посылать кого-нибудь было опасно — город мгновенно облетит слух, что падре Хосе разрешили выполнить в тюрьме священнический долг. Даже хефе ничего не должен знать — нельзя доверять начальству, если ты оказался удачливее его. Лейтенанту было известно: хефе недоволен тем, что он привел священника, — с точки зрения хефе, было бы лучше, если бы священник скрылся.

Войдя во дворик, лейтенант почувствовал, что за ним следят несколько пар глаз: дети готовились встретить криками появление падре Хосе. Напрасно он пообещал священнику, но слово надо сдержать, не то этот дряхлый, развращенный, пропитанный Богом мир одержит хоть недолгую, но победу.

На его стук никто не ответил; он стоял в темноте двора как проситель. Он снова постучал и услышал голос:

— Сейчас, сейчас.

Падре Хосе приник лицом к прутьям оконной решетки и спросил:

— Кто там? — Он пытался нашарить что-то у себя под ногами.

— Лейтенант полиции.

— Ой! — пискнул он. — Простите. Я брюки... Темно очень. — Он дернул что-то вверх, и послышался треск, будто у него лопнули подтяжки или пояс. В другом конце двора заверещали дети: «Падре Хосе! Падре Хосе!» Он подошел к двери и, не глядя на них, ласково пробормотал: — Вот чертенята!

Лейтенант сказал:

— Пойдешь со мной в полицейский участок.

— Я ни в чем не виноват. Ни в чем. Я ничего такого не делаю.

— Падре Хосе! — верещали дети.

Он умоляюще проговорил:

— Если это из-за похорон, то вас обманули. Я даже молитву отказался прочитать.

— Падре Хосе! Падре Хосе!

Лейтенант повернулся и зашагал через двор. Он яростно крикнул детским лицам, прижавшимся к решетке:

— Тихо! Идите спать. Сию же минуту. Слышите, что вам сказано? — Лица спрятались одно за другим; но стоило лейтенанту повернуться к ним спиной, как они снова показались.

Падре Хосе сказал:

— Никакого сладу с ними нет.

Послышался женский голос:

— Где ты, Хосе?

— Я здесь, милочка. Это из полиции.

Огромных размеров женщина в белой ночной рубашке загородила своей тушей дверной проем. Было только начало восьмого. Может, она так и ходит весь день в этой рубашке? — подумал лейтенант. Или весь день проводит в постели? Он сказал:

— Твоего мужа, — с особенным удовольствием выговаривая эти слова, — твоего мужа требуют в полицию.

— Кто это говорит?

— Я говорю.

— Он ничего такого не сделал.

— Вот и я, милочка, тоже...

— Молчи. Говорить буду я.

— Перестаньте тараторить, — сказал лейтенант. — Тебя требуют в полицию повидать одного человека — священника. Он хочет, чтобы ты принял у него исповедь.

— Я?

— Да. Больше никому.

— Несчастный человек, — сказал падре Хосе. Его маленькие красноватые глазки быстро обежали двор. — Несчастный человек. — Он нерешительно потоптался на месте и взглянул украдкой на небо, где созвездия совершали свой круговорот.

— Никуда ты не пойдешь, — сказала женщина.

— Но ведь это, кажется, противозаконно? — спросил падре Хосе.

— Ничего, не беспокойся.

— Ах, не беспокойся! — сказала женщина. — Я вас насквозь вижу. Не хотите оставить моего мужа в покое. Вам лишь бы подвести его. Я знаю, как вы действуете. Подсылаете к нему людей, а они просят — помолись за нас, добрый человек. Но одного не забывайте — он государственный пенсионер.

Лейтенант отдельно проговорил:

— Этот священник многие годы действовал тайно — ради вашей Церкви. Мы поймали его и завтра расстреляем. Он неплохой человек, и я разрешил ему повидаться с тобой. Он считает, что это будет для него благом.

— Я знаю этого священника, — перебила лейтенанта женщина. — Он пьяница. Только и всего.

— Несчастный человек, — сказал падре Хосе. — Один раз он пытался спрятаться у нас.

— Обещаю тебе, — сказал лейтенант. — Никто об этом не узнает.

— Ах, никто не узнает? — закудаhtала женщина. — По всему городу разнесется. Вон, полюбуйтесь на этих пострелят. Покоя Хосе не дают. — Она продолжала тараторить: — Тогда все захотят исповедоваться, а дойдет до губернатора, и конец пенсии.

— Милочка, — сказал падре Хосе, — может быть, долг велит мне...

— Ты уже не священник, — оборвала его женщина. — Ты мой муж. — Она сказала нехорошее слово. — Вот в чем теперь твой долг.

Лейтенант слушал их с чувством едкого удовлетворения, словно обретая свою былую веру. Он сказал:

— Мне некогда ждать, когда вы кончите свой спор. Пойдешь ты со мной?

— Нет, не заставьте, — сказала женщина.

— Милочка, но я... э-э... я священник.

— Священник! — снова закудаhtала женщина. — Это ты священник? — Она захохотала, и ее хохот нерешительно подхватили дети за окном. Падре Хосе приложил пальцы к своим красноватым глазам, точно они у него болели. Он сказал:

— Милочка... — а хохот все не умолкал.

— Так идешь?

Падре Хосе беспомощно развел руками, будто говоря: ну, еще одно попущение, но значит ли это что-нибудь в такой жизни, как моя? Он сказал:

— Да нет... нельзя.

— Хорошо, — сказал лейтенант. Он круто повернулся — времени на милосердие у него больше не было — и услышал у себя за спиной умоляющий голос падре Хосе:

— Скажите ему, что я за него помолюсь. — Дети осмелели: кто-то из них крикнул:

— Иди спать, Хосе. — И лейтенант рассмеялся — его смех был пустым, жалким, неубедительным добавлением к общему хохоту. Хохот окружал теперь падре Хосе со всех сторон и уходил ввысь к стройному хору созвездий, названия которых он знал когда-то.

Лейтенант отворил дверь в камеру; там было совсем темно. Он аккуратно затворил ее за собой и запер на ключ, держа руку на револьвере. Он сказал:

— Не придет он.

Маленькая, сгорбленная фигурка в темноте — это был священник. Он сидел на полу, как ребенок, занятый игрой. Он сказал:

— Сегодня не придет?

— Нет, вообще не придет.

В камере стало тихо, если можно говорить о тишине, когда москиты непрерывно тянут свое «ж-ж, ж-ж», а жуки хлопаются о стены. Наконец священник сказал:

— Он, наверно, побоялся.

— Жена не пустила.

— Несчастный человек. — Он попробовал рассмеяться, но выдавил из себя только жалкий, сорвавшийся смешок. Его голова свесилась к коленям: он со всем покончил, и с ним все покончили.

Лейтенант сказал:

— Тебе надо знать правду. Тебя судили и признали виновным.

— Разве мне нельзя было присутствовать на собственном суде?

— Это ничего бы не изменило.

— Да. — Он замолчал, готовясь разыграть полное спокойствие. Потом спросил с деланной развязностью: — А разрешите узнать, когда...

— Завтра. — Быстрота и краткость ответа испугали его. Он поник головой и, насколько можно было разглядеть в темноте, стал грызть ногти.

Лейтенант сказал:

— Нехорошо оставаться одному в такую ночь. Если хочешь, я переведу тебя в общую камеру.

— Нет, нет. Я лучше побуду один. Мне столько всего надо успеть. — Голос изменил ему, точно от сильной простуды. Он прохрипел: — О столько надо подумать.

— Мне хотелось бы что-то сделать для тебя. — сказал лейтенант. — Вот, я принес немножко бренди.

— Вопреки закону?

— Да.

— Вы очень добры. — Он взял маленькую фляжку. — Вам, конечно, ничего такого не понадобилось бы. Но я всю жизнь боялся боли.

— Всем нам придется умереть, — сказал лейтенант. — А когда, это не так уж важно.

— Вы хороший человек. Вам бояться нечего.

— Какие у тебя странные мысли, — посетовал лейтенант. — Иной раз мне кажется, ты просто хочешь внушить мне...

— Внушить? Что?

— Ну, может, чтобы я дал тебе убежать или уверовал в святую католическую церковь, в общение святых... Как там у вас дальше?

— Во оставление грехов.

— Сам-то ты не очень в это веришь?

— Нет, верю, — упрямо сказал маленький человечек.

— Тогда что же тебя тревожит?

— Видите ли, я не такой уж темный. Я всегда разбирался в своих поступках. Но сам отпустить себе грехи не могу.

— А если б падре Хосе к тебе пришел, неужели это настолько изменило бы дело?

Лейтенанту пришлось долго ждать, когда ему ответят, но ответа священника он не понял:

— С другим человеком... легче.

— Больше я ничего не могу для тебя сделать?

— Нет. Ничего.

Лейтенант отпер дверь, по привычке держа руку на револьвере. У него было тяжело на душе. Теперь, когда последний священник сидит под замком, больше ему и делать-то нечего. Пружинка, двигавшая его действиями, лопнула. Хорошее было время, пока шла охота, подумал он, но больше этого не будет. Цель исчезла, жизнь словно вытекла из окружающего его мира. Он сказал с горьким сочувствием (ему трудно было вызвать в себе ненависть к этому маленькому опустошенному человечку):

— Постарайся уснуть.

Он уже затворил за собой дверь, когда сзади послышался испуганный голос:

— Лейтенант.

— Да?

— Вы видели, как расстреливают? Таких, как я.

— Да.

— Боль длится долго?

— Нет, нет. Мгновение, секунду. — грубо сказал он и, захлопнув дверь, побрел по тюремному двору. Он зашел в участок: фотографии священника и бандита все еще висели на стене; он сорвал их — больше они не понадобятся. Потом сел за свой стол, опустил голову на руки и, поддавшись непреодолимой усталости, заснул. Он не мог вспомнить потом, что ему снилось, — в памяти остался только хохот, непрерывный хохот и длинный коридор, выхода из которого найти было нельзя.

Священник сидел на полу, держа фляжку в руках. Так прошло несколько минут, потом он отвинтил колпачок и поднес фляжку ко рту. Бренди не оказало на него никакого действия, точно вода.

Он поставил фляжку на пол и начал шепотом перечислять свои грехи. Он сказал:

— Я предался блуду. — Эта формальная фраза ничего не значила, она была как газетный штамп



и раскаяния вызвать не могла. Он начал снова: — Я спал с женщиной, — и представил себе, как стал бы расспрашивать его священник: «Сколько раз? Она была замужем?» — «Нет». Бессознательно он снова отхлебнул из фляжки.

Вкус бренди вызвал у него в памяти дочь, вошедшую с яркого, солнечного света в хижину, — ее хитрое, насуспенное, недетское лицо. Он сказал:

— О Господи, помоги ей. Я заслужил Твое проклятие, но она пусть живет вечно. — Вот любовь, которую он должен был чувствовать к каждой человеческой душе, а весь его страх, все его стремления спасти сосредоточились не по справедливости на этом одном ребенке. Он заплакал: девочка словно медленно уходила под воду, а он мог только следить за ней с берега, ибо разучился плавать. Он подумал: вот как я должен бы относиться ко всем людям, — и заставил себя вспомнить метиса, лейтенанта, даже зубного врача, в доме которого побывал, девочку с банановой плантации и множество других людей, и все они требовали его внимания, словно толпились у тяжелой двери, не поддающейся их толчкам. Ибо этим людям тоже грозит опасность. Он взмолился: — Господи, помоги им! — И лишь только произнес эти слова, как снова вернулся мыслью к своей дочери, сидящей у мусорной кучи, и понял, что молится только за нее. Опять нет ему оправдания.

Помолчав, он снова начал:

— Я бывал пьян, сам не знаю, сколько раз. Нет священнического долга, которым я бы не пренебрегал. Я повинен в гордыне, мне не хватало милосердия... — Эти слова опять были буквой исповеди, лишеной всякого значения. Не было рядом с ним исповедника, который обратил бы его мысли от формулы к действительности.

Он снова приложился к фляжке, встал, преодолевая боль в ноге, подошел к двери и выглянул сквозь решетку на залитый луной тюремный двор. Полицейские спали в гамаках, а один, которому не спалось, лениво покачивался взад и вперед, взад и вперед. Повсюду, даже в других камерах, стояла необычная тишина — будто весь мир тактично повернулся к нему спиной, чтобы не быть свидетелем его предсмертных часов. Он ощупью прошел вдоль стены в дальний угол и сел на пол, зажав фляжку между колен. Он думал: будь от меня хоть какая-нибудь, хоть малейшая польза! Последние восемь лет — тяжелых, безнадежных — показались ему теперь карикатурой на пастырское служение: считанные причастия, считанные исповеди и бесчисленное количество дурных примеров. Он подумал — если б я спас хоть одну душу и мог бы сказать: вот, посмотри на мои дела... Люди умерли за него, а им бы надо умереть за святого — и горькая обида за них затуманила ему мысли, ибо Бог не послал им святого. Такие, как мы с падре Хосе, такие, как мы! — подумал он и снова хлебнул бренди из фляги. Перед ним предстали холодные лица святых, отвергающих его.

Эта ночь тянулась дольше той — первой в тюрьме, потому что он был один. Лишь бренди, приконченное к двум часам ночи, сморило его. От страха он чувствовал тошноту, в желудке начались боли, во рту после выпитого пересохло. Он стал разговаривать вслух сам с собой, потому что тишина была нестерпима. Он жалобно сетовал:

— Это хорошо для святых... — Потом: — Откуда мне известно, что все кончится в одно мгновение? А сколько оно длится, мгновение? — И заплакал, легонько ударяясь головой об стену. Падре Хосе дали возможность уцелеть, а ему — нет. Может, неправильно его поняли потому, что он так долго был в бегах. Может, решили, что он не пойдет на те условия, которые принял падре Хосе, что он откажется вступить в брак, что он гордец. А если самому предложить такой выход, может, это спасет его? Надежда принесла успокоение, и он заснул, прислонившись головой к стене.

Ему приснился странный сон. Он сидел за столиком в кафе перед высоким соборным алтарем. На столике стояло шесть блюд с кушаньями, и он ел с жадностью. Пахло ладаном, он чувствовал подъем душевных сил. Как всегда во сне, кушанья не имели вкуса, но вот он доест их, и тогда ему

подадут самое вкусное. Перед алтарем ходил взад и вперед священник, служивший мессу, но он почти не замечал этого: церковная служба уже не касалась его. Наконец все шесть блюд стояли пустые. Кто-то невидимый глазу позвонил в колокольчик, и священник, служивший мессу, опустился на колени перед тем, как вознести чашу с дарами. Но он сидел и ждал, не глядя на Бога над алтарем, точно этот Бог был для других людей, а не для него. Потом стакан рядом с тарелкой начал наполняться вином, и, подняв глаза, он увидел, что ему прислуживает девочка с банановой плантации. Она сказала:

— Я взяла вино у отца в комнате.

— Потихоньку?

— Нет, не совсем, — сказала она своим ровным, уверенным голосом.

Он сказал:

— Это очень мило с твоей стороны. Я уже забыл ту азбуку — как ты ее называла?

— Морзе.

— Правильно. Морзе. Три долгих стука и один короткий, — и сразу началось постукивание; постукивал священник у алтаря, в проходах между скамьями постукивали невидимки-молящиеся: три долгих стука и один короткий. Он спросил:

— Что это?

— Весть, — сказала девочка, строго, озабоченно и с интересом глядя на него.

Он проснулся, когда уже рассвело. Он проснулся с великой надеждой, но стоило ему увидеть тюремный двор, как надежда сразу, начисто исчезла. Этим утром его ждет смерть. Он съежился на полу с пустой фляжкой в руках и стал вспоминать покаянную молитву.

— Каюсь, Господи, прости мне все мои прегрешения... Я распинал Тебя... заслужил Твою страшную кару. — Он путал слова, думая о другом. Не о такой смерти возносим мы молитвы. Он увидел свою тень на стене — какую-то недоумевающую и до смешного ничтожную. Как глупо было думать, что у него хватит мужества остаться, когда все другие бежали. Какой я нелепый человек, подумал он, нелепый и никому не нужный. Я ничего не сделал для других. Мог бы и вовсе не появляться на свет. Его родители умерли — скоро о нем даже памяти не останется. Может быть, он и адских мук не стоит. Слезы лились у него по щекам; в эту минуту не проклятие было страшно ему, даже страх перед болью отступил куда-то. Осталось только чувство безмерной тоски, ибо он предстанет перед Богом с пустыми руками, так ничего и не свершив. В эту минуту ему казалось, что стать святым было легче легкого. Для этого требовалось только немного воли и мужества. Он словно упустил свое счастье, опоздав на секунду к условленному месту встречи. Теперь он знал, что в конечном счете важно только одно — быть святым.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Миссис Феллоуз лежала в душном номере гостиницы, прислушиваясь к звуку паровой сирены, доносившемуся с реки. Видеть она ничего не могла, потому что лоб и глаза у нее были прикрыты платком, смоченным одеколоном. Она громко позвала:

— Милый! Милый! — но ответа не услышала. Ей казалось, будто ее похоронили заживо в большом железном фамильном склепе и она лежит одна под балдахином, на двух подушках. — Милый! — повторила она еще громче и прислушалась.

— Да, Трикси, — отозвался капитан Феллоуз. Он сказал: — Я заснул, мне что-то снилось.

— Подлей, милый, одеколону на платок. Голова у меня просто разламывается.

— Сейчас, Трикси.

Капитан Феллоуз протянул руку к платку. Он постарел, вид у него был усталый, скучающий, как у человека, лишенного любимого занятия. Он подошел к туалетному столику и смочил платок одеколоном.

— Не усердствуй, милый. Когда еще мы сможем купить другой флакон! — Он промолчал, и она резко сказала: — Ты слышишь, что тебе говорят, милый?

— Да.

— Последнее время ты все молчишь. Знал бы, каково лежать здесь больной в одиночестве.

— Сама понимаешь, мне нелегко, — сказал капитан Феллоуз.

— Но мы же решили, милый, — об этом лучше молчать. Зачем растревлять раны.

— Да.

— Нужно думать о себе.

— Да.

Он подошел к кровати и положил платок жене на лоб. Потом, сев на стул, продел руку под сетку и сжал ее пальцы. Они производили странное впечатление — дети, одни, без взрослых, потерявшиеся в чужом городе.

— Ты взял билеты? — спросила она.

— Да, милая.

— Попозже я встану и уложу вещи. Но голова так болит. Ты сказал, чтобы заехали за багажом?

— Забыл.

— Все-таки тебе не мешало бы об этом позаботиться, — проговорила она слабым, капризным голосом. — Больше ведь некому. — И после этой фразы, которой следовало бы избежать, оба замолчали. Потом он вдруг сказал:

— В городе большое волнение.

— Неужели опять революция?

— Нет, нет. Поймали священника и сегодня утром его, беднягу, расстреляют. Я все думаю: может быть, это тот самый, которого Корал... то есть тот, которого мы спрятали у себя.

— Вряд ли.

— Да.

— Священников много.

Он отпустил ее руку и, подойдя к окну, выглянул на улицу. Парусники на реке, асфальтовый, без единой травинки, скверик с бюстом генерала — и всюду, куда ни глянь, стервятники.

Миссис Феллоуз сказала:

— Хорошо, что мы возвращаемся домой. Мне иногда казалось, что я тут и умру.

— Ну, зачем ты так, милая.

— Умирают же люди...

— Да, умирают, — угрюмо сказал он.

— Вот опять! — резко сказала миссис Феллоуз. — Ты же обещал. — Она протяжно вздохнула:  
— Бедная моя голова.

Он сказал:

— Дать тебе аспирин?

— Не знаю, куда я его дела. Теперь никогда ничего не найдешь.

— Пойти купить?

— Нет, милый, я не могу оставаться одна. — Она продолжала с наигранной бодростью: — Вот приедем домой, и я выздоровею. Позовем настоящего врача. Мне иногда кажется, что это не просто головная боль. Я говорила тебе, что от Норы пришло письмо?

— Нет.

— Дай мне очки, милый, я тебе прочитаю — то, что касается нас с тобой.

— Они у тебя на кровати.

— Да, правильно. — Один парусник отчалил от берега и пошел вниз по течению широкой ленивой реки к морю. Миссис Феллоуз с удовольствием начала читать: — «Дорогая Трикс! Как ты, наверно, страдаешь. Этот мерзавец...» — Она осеклась: — Ах да... Еще тут вот что: «Вы с Чарлзом поживете, конечно, у нас, пока не подыщете себе что-нибудь подходящее. Если не возражаете против половины дома...»

Капитан Феллоуз вдруг резко сказал:

— Я никуда не поеду.

— «Арендная плата всего пятьдесят шесть фунтов в год — не считая других расходов по дому. Для служанки отдельная ванная».

— Я остаюсь здесь.

— «Отопление из кухни». Что ты там несешь, милый?

— Я не поеду.

— Мы столько раз это обсуждали, милый. Ты же знаешь: если я здесь останусь, тогда мне конец.

— Так не оставайся.

— Но не поеду же я одна, — сказала миссис Феллоуз. — Что подумает Нора? И вообще... да нет, это невысказано.

— Работу здесь человек всегда найдет.

— По сбору бананов? — сказала миссис Феллоуз с холодным смешком. — Не очень-то это у тебя получалось.

Он в ярости повернулся к кровати.

— А ты можешь. — сказал он. — можешь убежать отсюда и оставить ее.

— Я не виновата. Если бы ты был дома... — Она заплакала, съжившись под москитной сеткой. Она сказала: — Одна я туда живой не доеду.

Он устало шагнул к кровати и снова взял жену за руку. Нет, бесполезно. Они оба осиротели. Им надо держаться друг друга.

— Ты не бросишь меня одну, милый? — спросила она. В комнате стоял сильный запах одеколона.

— Нет, милая.

— Ты понимаешь, что это невыносимо?

— Да.

Они надолго замолчали, а солнце поднималось все выше и выше, накаляя комнату. Наконец миссис Феллоуз сказала:

— О чем?

— Что?

— О чем ты думаешь, милый?

— Я вспомнил того священника. Станный тип. Он пил. Неужели это тот самый?

— Если тот самый, так поделом ему.

— Но какая она была потом! Вот что мне непонятно. Точно он открыл ей что-то.

— Голубчик. — донесся до него хоть и слабенький, но твердый голос с кровати. — Ты же обещал.

— Да, прости. Я стараюсь как могу, но это получается само собой.

— У тебя есть я, у меня — ты. — сказала миссис Феллоуз, и письмо Норы зашуршало на одеяле, когда она повернула к стене прикрытую платком голову, прячась от безжалостного дневного света.

Нагнувшись над эмалированным тазиком, мистер Тенч мыл руки розовым мылом. Он сказал на своем дурном испанском языке:

— Не надо бояться. Станет больно, сразу же говорите. Комната хефе временно превратилась в зубо-врачебный кабинет, и это стоило немалых затрат, так как доставить в столицу надо было не только самого мистера Тенча, но и шкафчик мистера Тенча, и зубо-врачебное кресло, и таинственные упаковочные ящики. В ящиках этих пока что была солома, но обратно они вряд ли вернутся пустыми.

— Я уже несколько месяцев мучаюсь, — сказал хефе. — Вы не представляете себе, какая это боль.

— Надо было сразу ко мне обратиться. Рот у вас в ужасном состоянии. Ваше счастье, что еще не дошло до пиореи.

Он вытер руки и вдруг так и застыл с полотенцем и о чем-то задумался.

— Ну, что же вы? — сказал хефе. Мистер Тенч, вздрогнув, очнулся, подошел к своему шкафчику и стал вынимать и выкладывать в ряд орудия предстоящей пытки. Хефе настороженно наблюдал за ним. Он сказал: — У вас руки сильно дрожат. Как вы себя чувствуете? Может быть...

— Это от несварения желудка, — сказал мистер Тенч. — Иной раз столько черных мух перед глазами, будто в вуали ходишь. — Он вставил бор. — Теперь откройте рот пошире. — Он стал засовывать в рот хефе ватные тампоны. Он сказал: — Первый раз вижу такой запущенный рот, если не считать одного случая.

Хефе пытался что-то сказать. Этот приглушенный, нечленораздельный вопрос мог понять только дантист.

— Он не был моим пациентом. Его, наверно, кто-нибудь другой вылечил. В вашей стране многих вылечивают пулями.

Он начал сверлить зуб, поддерживая беглый огонь разговора; так было принято в Саутенде. Он говорил:

— Перед тем как мне выехать сюда, со мной произошла странная история. Я получил письмо от жены. Ни строчки от нее не было лет... лет двадцать. И вдруг как гром среди ясного неба... — Он наклонился к хефе и посильнее нажал бором. Хефе со стоном замахал руками. — Пополощите, — сказал мистер Тенч и, насупившись, занялся бормашиной. Он сказал: — Так о чем это я? Ах да, о жене. Она, по-видимому, ударилась в религию. Какое-то у них там общество — в Оксфорде. Как ее занесло в Оксфорд? Пишет, что простила меня и хочет оформить наши отношения юридически. Другими словами — требует развода. Она, видите ли, простила меня. — сказал мистер Тенч и, погрузившись в свои мысли и держа в руке наконечник бормашины, обвел глазами маленькую убогую комнату. Он рыгнул и другой рукой коснулся живота, щупая, щупая, стараясь найти точку скрытой боли, которая почти не оставляла его.

Хефе с широко открытым ртом в изнеможении откинулся на спинку кресла.

— То отпустит, то опять прижмет, — сказал мистер Тенч, совершенно потеряв нить своих мыслей. — Это, конечно, пустяки. Просто несварение желудка. Но жизни нет никакой. — Он хмуро уставился хефе в рот, будто там, между кариозными зубами, был запрятан магический хрустальный шар. Потом огромным усилием воли заставил себя наклониться и нажал педаль. Хефе весь окостенел и вцепился в ручки кресла, а нога мистера Тенча ходила вверх-вниз, вверх-вниз. Хефе издавал какие-то странные звуки и взмахивал руками. — Держитесь, — сказал мистер Тенч. — Держитесь. Еще немножко в уголке. Сейчас кончаю. Сейчас, сейчас. Ну вот! — Он снял ногу с педали и сказал: — Господи помилуй! Что это? — Мистер Тенч бросил хефе на кресле, подошел к окну и выглянул вниз во двор. Отряд полицейских поставил винтовки к ноге. Держась за живот, он возмущенно проговорил: — Неужели опять революция?

Хефе выпрямился в кресле и выплюнул вату.

— Да нет, — сказал он. — Человека будут расстреливать.

— За что?

— За измену.

— По-моему, — сказал мистер Тенч, — обычно вы делаете это у кладбища. — Страшное зрелище притягивало его. Ничего подобного ему еще не приходилось видеть. Он и стервятники не сводили глаз с маленького тюремного двора.

— На сей раз это нецелесообразно. Может начаться демонстрация. Народ-то ведь темный.

Из боковой двери вышел какой-то маленький человек: двое полицейских поддерживали его под

руки, но он явно старался не сплеховать, только ноги у него подкашивались. Полицейские проволокли этого человека через двор к дальней стене; офицер завязал ему глаза платком. Мистер Тенч подумал: да ведь я его знаю. Боже милостивый, надо что-то сделать. Точно твоего соседа ведут на расстрел.

Хефе сказал:

— Чего вы ждете? В зуб попадет воздух.

Но что можно было сделать? Все шло быстро, по шаблону. Офицер отступил в сторону, полицейские взяли ружья на изготовку, и маленький человек вдруг судорожно взмахнул руками. Он хотел что-то сказать. Что положено говорить в таких случаях? Тоже что-нибудь шаблонное, но у него, наверное, пересохло во рту, и он выговорил единственное слово — кажется, «простите». Ружейный залп потряс мистера Тенча, отозвавшись у него во внутренностях. Он почувствовал дурноту и зажмурился. Потом раздался одиночный выстрел, и, открыв глаза, мистер Тенч увидел, что офицер сует пистолет в кобуру, а маленький человек — опять же по заведенному шаблону — лежит у стены жалкой, бесформенной грудой тряпья, которую надо поскорее убрать. К нему быстро подбежали двое кривоногих полицейских. Была арена, и был мертвый бык, и ждать больше было нечего.

— О-о! — стонал хефе. — Больно же! — Он взмолился: — Скорее! — Но мистер Тенч, уйдя с головой в свои мысли, стоял у окна и машинально мямлил живот, пытаясь определить, где затаилась боль. Он вспомнил слепящий полдень и как маленький человек с удрученным, безнадежным видом поднялся с качалки у него в комнате и последовал за мальчиком прочь из города; вспомнил зеленую лейку, фотографию своих детей, слепок протеза для волчьей пасти, который он сделал из песка.

— Пломбу! — молил хефе, и мистер Тенч перевел глаза на маленькую кучку золота, лежавшую на стеклянном лотке. Валюта — надо требовать иностранную валюту; теперь уж он уедет отсюда, уедет навсегда. На тюремном дворе все было убрано: полицейский бросал лопатой песок, точно закапывал могилу. Но могилы не было; во дворе ничего не осталось. Страшное чувство одиночества охватило мистера Тенча; он согнулся от боли. Этот маленький человек говорил по-английски и выслушал его рассказ про детей. Теперь он остался один, никого больше нет.

## 2

— «И вот... — Голос у женщины торжествующе взлетел вверх, и обе девочки с глазами-бусинками затаили дыхание. — Настал день великого испытания...» — Мальчик и тот заинтересовался. Он стоял у окна и глядел на темную, опустевшую после комендантского часа улицу. Это последняя глава, а в последней главе события всегда разворачиваются стремительно. Может, и в жизни тоже так — нудно, скучно, а под конец героический взлет.

— «Когда начальник полиции вошел в камеру, Хуан молился, преклонив колена. Всю ночь Хуан не сомкнул глаз, готовясь принять мученический венец. Он держался спокойно, весело и, с улыбкой взглянув на начальника полиции, спросил, куда его поведут, уж не на пиршество ли? И явно растрогал этого злодея, погубившего столько невинных душ».

Скорее бы дошло до расстрела, думал мальчик; расстрелы всегда будоражили его, и он всякий раз с волнением дожидался *coup de grace*<sup>11</sup>.

— «Хуана вывели во двор тюрьмы. Не было необходимости связывать эти руки, перебирающие четки. Шагая к стене, где его должны были расстрелять, оглянулся ли Хуан на те недолгие, те счастливые годы, которые он прожил так доблестно? Вспомнил ли семинарию, ласковые укоры наставников и то, как крепнул его характер, и те веселые деньки, когда он играл Нерона в присутствии

<sup>11</sup> последний удар, которым прекращают чьи-либо страдания (фр.)

старенького епископа? А сейчас Нерон был здесь, рядом с ним, и он выходил на римский амфитеатр».

Голос у матери чуть охрип; она быстро перелистала последние страницы: оставлять на завтра уже не стоило, и она стала читать все быстрее и быстрее:

— "Дойдя до стены, Хуан повернулся и начал молиться — не за себя, а за своих врагов, за несчастных индейских солдат, которые стояли перед ним, и даже за начальника полиции. Он воздел четки с распятием, моля Господа: «Прости несчастных, да прозрят они в невежестве своем и, подобно гонителю Савлу, придут в вечное царство небесное».

— А ружья у них были заряженные? — спросил мальчик.

— То есть как — заряженные?

— Почему же они не выстрелили? Тогда он замолчал бы.

— Потому что Господь судил иначе. — Она откашлялась и стала читать дальше: — «Офицер скомандовал: „Го-товсь!“ И в этот миг безмерно счастливая, блаженная улыбка озарила лицо Хуана. Он словно увидел руки Господни, простертые к нему. Матери и сестрам он всегда говорил: „Я предчувствую, что вознесусь в царство небесное раньше вас“. И, со странной улыбкой обращаясь к матери, доброй, хлопотливой хозяйке, повторял: „Я там все приберу к твоему приходу“. И вот час его пробил. Офицер скомандовал: „Огонь!“ И...» — Она читала торопливо, потому что девочкам пора было спать, а тут на нее еще напала икота. — «Огонь!» — повторила она. — И..."

Обе девочки тихо сидели рядом и клевали носом. Эту часть книжки они не очень любили; они терпели ее только потому, что в ней описывались любительские спектакли, и первое причастие, и то, как сестра Хуана ушла в монастырь и трогательно просталась в третьей главе со своими близкими.

— «Огонь!» — снова сказала мать. — И, воздев руки над головой, Хуан громким голосом отважно крикнул солдатам, направившим на него винтовки: «Слава Христу-Царю!» И тут же упал, сраженный десятью пулями, а офицер, нагнувшись над телом Хуана, поднес пистолет ему к уху и нажал курок".

У окна послышался долгий вздох.

— «Второго выстрела не потребовалось. Душа юного героя уже покинула свое земное обиталище, и, увидев блаженную улыбку на его мертвом лице, даже эти невежественные люди поняли, куда теперь вознесся Хуан. Мужество его так растрогало одного солдата, что он украдкой смочил платок кровью мученика. Этот платок был разрезан на сто кусков, которые ныне хранятся как реликвии во многих благочестивых домах». А теперь, — поспешно сказала мать, хлопнув в ладоши, — пора баиньки.

— А тот, — проговорил мальчик, — которого сегодня расстреляли, он тоже был герой?

— Да.

— Тот, что ночевал у нас?

— Да. Он принял муки за Церковь.

— От него очень странно пахло, — сказала младшая девочка.

— Нельзя так говорить, — сказала мать. — Может быть, он святой.

— Значит, надо ему молиться?

Мать нерешительно помолчала.

— Ничего плохого в этом не будет. Но пока мы еще не знаем, святой он или нет... Надо ждать чудес...



— Он крикнул: «Viva el Cristo Rey»? — спросил мальчик.

— Да. Он был мучеником Церкви.

— А кто-нибудь смочил платок в его крови?

— Думаю, что да... — важно произнесла мать. — Сеньора Хименес мне рассказывала... Если папа даст немножко денег, я достану эту реликвию.

— Разве за нее надо платить?

— А как же иначе? Не всем же эти кусочки достанутся.

— Да.

Мальчик устроился на подоконнике, глядя на улицу, а у него за спиной тихо возились девочки, укладываясь спать. То, что у них в доме, правда всего лишь сутки, жил герой, перевернуло его мысли. И ведь он последний. Не осталось больше ни священников, ни героев. Мальчик с отвращением прислушался к стуку башмаков по асфальту. Обыденная жизнь наваливалась на него. Он слез с подоконника и взял свечку. Сапата, Вилья, Мадеро, а сколько еще других, и вот такие люди, как этот, что идет по улице, убили их. Он чувствовал, что его обманули.

Лейтенант шел по улице, и в его походке было что-то напористое и упрямое, точно каждым своим шагом он говорил: «Что я сделал, то сделал». Он посмотрел на мальчика со свечой, не уверенный, тот ли это, и сказал себе: «Я хочу дать ему и всем остальным больше, гораздо больше. И жизнь у них будет совсем другая, не похожая на мою». Но действенная любовь, заставлявшая его палец нажимать курок, выдохлась и умерла. Любовь вернется, сказал он себе. Она, как любовь к женщине, проходит разные стадии: утром он насытился ею, только и всего. Это пресыщенность. Он страдальчески улыбнулся мальчику в окне и сказал: «Buenos noches». Мальчик смотрел на его кобуру, и лейтенант вспомнил тот день на площади и как он дал кому-то из ребят потрогать его револьвер — может быть, даже вот этому. Он снова улыбнулся и тоже тронул револьвер в знак того, что помнит, а мальчик сморщился и плюнул сквозь оконную решетку — плюнул точно, так что плевок попал прямо на револьверную рукоятку.

Мальчик пошел через двор — спать. У него была маленькая, темная комнатка с железной кроватью, на которой он спал вместе с отцом. Он ложился к стене, а отец с краю, чтобы не будить сына. Он снял башмаки и, угрюмо хмурясь, стал раздеваться при свете свечи; из соседней комнаты доносился шепот — там молились. Он чувствовал себя обманутым и разочарованным, как будто что-то потерял. Лежа на спине в душной комнате, он смотрел в потолок и думал: ничего больше нет на свете, только их лавка, книжки, которые им читает мать, и глупые игры на площади.

Но вскоре он заснул. Ему снилось, будто священник, расстрелянный утром, в одежде, которую ему дал отец, лежит, окоченевший, в их доме, в ожидании похорон. Сам он сидит рядом, а его мать долго читает про то, как этот священник играл Юлия Цезаря в присутствии епископа. У ее ног стоит корзинка с рыбой, и рыбы, завернутые в материнский платок, все в крови. Ему скучно, и он томится, а в коридоре кто-то забивает гвозди в гроб. И вдруг мертвый священник подмигнул ему, да, конечно, подмигнул: веко чуть дрогнуло...

Он проснулся и услышал стук-стук молотка в наружную дверь. Отца в постели не было, в другой комнате стояла полная тишина. Наверно, прошло уже много часов. Он лежал, прислушиваясь. Ему было страшно, и вдруг после короткого перерыва снова послышался стук, но в доме никто и не шевельнулся. Он нехотя спустил ноги с кровати — должно быть, это пришел отец, а дверь заперта. Он зажег свечу, закутался в одеяло и снова насторожился. Может, мать услышит и пойдет открыть, но он знал твердо, что это его долг. Он единственный мужчина в доме.

Он медленно пересек двор и подошел к наружной двери. А вдруг это лейтенант вернулся рассчитывать за плевки?.. Он отпер тяжелую, железную дверь и распахнул ее. На улице стоял какой-то незнакомец — высокий, худой, бледный, с горькой складкой у рта: в руке у него был чемоданчик. Он назвал мать мальчика и спросил, здесь ли она живет. Да, сказал мальчик, но она спит. Он потянул на себя дверь, но узконосый ботинок не дал ему затворить ее. Незнакомец сказал:

— Я только что с парохода. Нельзя ли... Меня направила к сеньоре одна ее хорошая знакомая.

— Она спит, — повторил мальчик.

— Может, ты вступишь меня? — сказал незнакомец со странной, испуганной улыбкой и понизив голос, шепнул: — Я священник.

— Священник? — воскликнул мальчик.

— Да, — тихо сказал он. — Меня зовут отец... — Но мальчик широко распахнул дверь и припал к его руке, не дав ему назвать себя по имени.